

Р2
Б44

ГЕРОЛЬД
БЕЛЬГЕР



За шестью
перевалами

ГЕРОЛЬД
БЕЛЬГЕР

*ЗА ШЕСТЬЮ
ПЕРЕВАЛАМИ*

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ



Издательство «Жазушы»
Алма-Ата — 1977

Бельгер Герольд.
Б44 За шестью перевалами. Повести, рассказы.
Алма-Ата, «Жазушы», 1977.
188 с.

Новая книга переводчика и прозаика Герольда Бельгера открывается повестью «Перед далью». В центре ее — судьба немецкого мальчика, выросшего в казахском ауле. Здесь, на берегу древней реки Есиль, в перелесках северного Казахстана, на тропинке детства, он обретает искренних, верных друзей, познает первые радости и горести, высокие идеалы гуманизма и интернационализма.

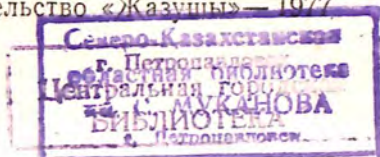
В повести «Излучина», написанной на основе конкретных, жизненно достоверных фактов, автор разоблачает мнимую безобидность, безвредность религиозных предрассудков в сознании некоторых людей, раскрывает антиобщественную, антисоциальную суть баптизма, уродующего душу молодого поколения, показывает столкновение двух противоборствующих взглядов на жизнь.

263423

Б 70302—13
402(07)77 —125—77

р2

© Издательство «Жазушы» — 1977





ПЕРЕД ДАЛЬЮ

Повесть

«У дорог только одно направление —
они мчатся в будущее...»

(Роберт Вебер)

I

Мы едем и едем. Я засыпаю под монотонный стук колес и скрип ветхого вагона и просыпаюсь измотанный, сомлевший от бесконечной тряски, а мы все едем.

За маленьким квадратным окошком мелькают поля, долины, редкие безмолвные деревеньки.

Днем хорошо. Днем наш поезд стоит часто и подолгу. Тишина в первые мгновения оглушает. Но вот по вагонам прокатывается слух: стоять будем час, а может, и больше, и тогда нас, мальчишек, никто уже не в силах удержать в душных вагонах, на жестких, тесных полках. Какое наслаждение — чувствовать под ногами твердь

насыпи! Вокруг простирается бурая степь, сливаясь у пустынного горизонта с небом, и в этом огромном пространстве, наполненном тишиной и запахом осенних полей, кажутся неестественно крохотными, игрушечными и надсадно отдувающимся паровоз, и покорно выстроившиеся за ним товарные вагончики.

Пожилые женщины смотрят на нас почему-то грустными глазами и непривычно щедро одаривают домашней стряпней — шпрецелями, кренделями, пряниками, румяными, с блестящей глазурью баранками, обсыпанными маком.

Неожиданно взмывает, раскалывая прозрачную осеннюю тишь, требовательный, натужный гуд, и все бросаются к своим вагонам. Потом паровоз гудит еще, глуше, печальней и протяжней, точно мычит у калитки, вернувшись с выгона, наша Зорька. И вдруг вагоны вздрагивают, будто от испуга, лязгают буксы, и колеса, как бы нехотя, заводят свою унылую, опостылевшую песню: «трак-та-та, трак-та-та», и мы снова едем.

Куда?.. Зачем?..

Мне кажется, о том же спрашивают и бесцветные глаза дедушки Пеннера. Пеннеры расположились на верхней полке рядом с нами, и я никак не могу сосчитать, сколько их. Им так тесно на своей половине, что сам Пеннер-отец с двумя сыновьями-подростками почти все время пропадает где-то внизу, у дверей. Жена его, рыхлая, растрепанная, точно наседка, кудахчет, ворчит, покрякивает на свой неугомонный выводок — рыжих, конопатых дочерей мал мала меньше.

Дедушка Пеннер... Должно быть, проказливые внуки надоели ему до смерти: он даже не замечает их. Самая младшая и непоседливая забирается со своим горшком на нашу половину. Дедушка Пеннер в упор, пронзительно смотрит на меня, и в старчески-слезливых глазах его я вижу недоумение и затаенную боль, отчего мне становится не по себе. Поймав мой взгляд, он шевелит дряблыми,

лиловыми губами, раскрывает беззубый рот и точно выдыхает: «А?» Никому нет дела до дедушки Пеннера, никто с ним не разговаривает, и, кажется, единственное его занятие — глазеть на меня испытующе-угрюмо и время от времени ворчливо-строго вопрошать: «А?.. А?..»

Смеркается. В вагоне укладываются спать, потому что больше заняться нечем. И за квадратным окошком быстро сгущаются сумерки. Однообразно стучат колеса, покачивается, поскрипывает вагон, внизу у приоткрытой двери сидят, покуривают, подолгу молчат мужчины. Я вглядываюсь в сумрак: папы среди них нет. Значит, опять задержался в другом вагоне. А может, отстал от поезда? Я зябко вздрагиваю от этой страшной догадки и с тревогой смотрю на маму. Она, прижав к себе причмокивающую во сне Эльму, спит или просто думает, закрыв глаза. На гвоздике в углу белеет ее беретка. У мамы коротко стриженные черные волосы, с темным блеском глаза, круглое, смуглое лицо. Когда она смеется, на ее щеках появляются крохотные ямочки. Но в последнее время мама не смеется. Она молчит и почти не выпускает из рук Эльму. Мне грустно. Папы все нет. На остановках он натягивает белый халат, в котором кажется еще выше, хватая свой чемоданчик-аптечку с красным крестом и полумесяцем на крышке и спешит к другим вагонам. Он, оказывается, отвечает за здоровье всего состава.

Все тише в вагоне, и все громче стучат колеса. В противоположном углу проснулась девочка, захныкала спронею, но тут же успокоилась. Под нами кто-то жутко храпит. В окошко струится лунный свет. Молочно-белая полоска косо пролегла по верхней полке, сломавшись, нырнула вниз и потянулась к двери, к узкому, с ладонь, проему. Полоска дрожит, вместе с ней дрожат и причудливые отблески на ней. У двери лунная дорожка обрывается. Я крепче зажмуриваю глаза, чтобы представить, куда тянется эта белая тропинка с затейливыми бликами на ней, и вдруг отчетливо, до мелочей вижу покину-

тый наш дом, крыльцо, большую бочку в сенях с пахучей, в зеленоватой плесени, водой, в которой обитает диковинный со страшными щупальцами жук, пойманный папой в нашей речушке, где я с пацанами, бывало, целыми днями ловил раков. Я вижу излучину с разноцветными гальками на пологом берегу, площадь в центре села с крашеной трибуной на подмостках — любимые места наших нгр.

Поезд замедляет ход, он почти останавливается, и тут с грохотом раздвигается дверь, кто-то большой и ловкий легко впрыгивает в вагон. Это — папа, он поднимается на полку, склоняется надо мной, поправляет одеяло и ложится рядом.

— Где ж ты так долго? — шепотом спрашивает мама.

— В пятом вагоне, — тоже шепчет папа. — С бабкой Дите плохо.

— Что с ней?

— Сердце... Плачет... Умру, говорит, посреди степей, в дороге...

— Ах, гот!.. Ах, гот!.. — вздыхает дедушка Пеннер.

Выходит, не я один не сплю в скрипучем товарном вагоне.

— А из третьего вагона мальчик убежал, — еще тише продолжает папа.

— Как... убежал?!

— На последнем полустанке отстал... нарочно. Коля Вагнер.

— Ну как же он так?! Большой?

— Четырнадцать лет... По дому, видишь ли, соскучился, по деревне, а больше всего по любимому псу. Отец растерян, мать убивается...

— Пропадет мальчишка...

У меня начинает сильно колотиться сердце. Да ведь я его знаю, Колю Вагнера! Вихрастый такой, длинноногий. Вчера еще подбивал, уговаривал Яшу Пеннера бежать вместе. Помню, захлеб рассказывал о своем Рексе да

еще оставшихся в древних курганах за деревней... Какой отчаянный!

Если бы я мог... если б только мог,— слышится сияющий голос дедушки Пеннера,— я бы тоже... пешком, пешком добрался бы до... до... и там...

Тише, отец,— говорит папа.— Что бы вы там делали?.. Или указ забыли?!

— На что он мне, твой указ?— жарко шепчет дедушка.— И один бы прожил... Или умер... зато не трясся бы сейчас, не...

Да, да, это слово — такое короткое — указ!— я слышал в последнее время часто и запомнил сразу. Но есть еще одно слово — длинное, мудреное,— которое тоже часто повторяют взрослые, но я почему-то не могу его запомнить. Вспомню и тут же забуду. Но как же, как же?.. Ладно, утешаю я себя, утром вспомню, как проснусь, как только открою глаза, так сразу и вспомню. Всегда так. Бывает, забудешь что-нибудь перед сном — хоть лопни — не вспомнишь. А утром — бах!— и даже не думал об этом вовсе, а оно — вот оно!— будто из-под одеяла выпрыгнуло...

Стучат-стучат колеса, в квадратном окошке мелькают, мечутся тени. Скрипит, жалуется деревянный вагон, убаюкивает. Внизу, у двери, шепчутся, бормочут мужчины; вспыхивают в их руках спички. Едкий табачный дым тянется кверху, шекочет ноздри. Глаза мои слипаются...

Я вижу длинную-длинную лунную дорожку, по которой, ссутулившись, одиноко бредет и бредет вихрастый Коля Вагнер. Дорожка постепенно тускнеет, ныряет в сумеречные лощины, а фигурка одинокого путника, становясь все меньше и меньше, растворяется во мраке.

Я засыпаю и уже сквозь сон вдруг вспоминаю слово — длинное, мудреное,— которое сейчас у всех на устах: э-ва-ку-а-ци-я...

II

«Вкривь и вкось —
как будто так издревле повелось —
ряды хатенок выбегали в поле».

(Фридрих Больгер)

Деревянные и саманные хатенки с резными ставнями и без ставней, кособокие, приземистые бани в зарослях бурьяна в конце огромных огородов, с ярко золотящимися на солнце подсолнухами в запущенных палисадниках, словно застыли, косясь друг на друга, на почтительном расстоянии вдоль глинистого косогора. Приютился хуторок на краю ковыльной степи неподалеку от речки. Днем здесь безлюдно, сонно, только отчаянно-горластые петухи то и дело — должно быть, от скуки — устраивают переключку. Все меня поражает: и с низкими потолками дом, куда нас поселили, и непомерно большая, на полкомнаты печь, и сама хозяйка — молчаливая старуха. Но особенно изумляет и пугает меня простор, открывающийся во все стороны от хуторка, необъятный мир, в котором чувствуешь себя беспомощным. Мы будем здесь жить временно — так объяснила мама. И еще она сказала, что сейчас страда, хлеб созрел, но не убран, и сенокос еще не кончился в колхозе, потому что не хватает людей, и все приезжие, э-ва-ку-и-ро-ван-ны-е мобилизованы на сельскохозяйственные работы.

— Что такое мобилизованы?

— Это значит, — улыбается мама, — всем пужно помогать колхозу.

Папа встает спозаранок, когда я еще сплю, и приходит ночью. И мама прибегает домой нечасто, поест что-нибудь на ходу, сварит кашку для Эльмы и снова спешит на ток — это за косогором возле березового лесочка, где вымолачивают, очищают, просеивают на ветру пшеницу.

...Жарко на кухне. Бабка Кудрявцева с утра растопила печь и теперь с ухватом в руке заглядывает в ее черную

утробу, что-то там переставляет, передвигает, и я не вижу ее лица, вижу только сутулую, узкую спину, серое длинное платье, из-под которого высовываются неправдоподобно огромные кирзовые сапоги. У окошка за чистым выскобленным столом сидит растрепанная Валя и деловито дует на бокастый румяный пирожок. Ее бабушка, несомненно, великаястряпуха. Каковую только начинку она не придумывает для своих пирогов: то с капустой, то с картошкой, то с морковью, то с вишнями, смородиной, крыжовником. Валя, гримасничая, откусывает от горячего пышного пирога, и изнутри его еле заметной струйкой вьется пар. Я сглатываю: интересно, с чем сегодня пироги?

— Сейчас покушаем и пойдем играть, да?— постреливает на меня синими глазищами Валя.

Я киваю. С чем же все-таки пироги? От печки идет незнакомый, очень вкусный запах.

Мамы уже нет. Она и Эльму забрала с собой. Многие мамы берут детей на ток. Там, говорят, есть избушка.

С Валею мы подружился в первый же день. Она сама подошла ко мне, потрянула желтыми кудряшками.

— Тебя как звать?

— Гарри.

— Как? Как?

— Гар-ри...

— Гришка, небось?— снисходительно улынулась Валя.

— Нет, не Гришка,— подумав, возразил я.

Валя, наверное, старше меня, и потому сразу принялась мной командовать. Я хотел сначала возмутиться, но потом, когда она повела меня в огород и угостила смородиной, забыл о своем хотении. Почему-то имя мое ей не понравилось, и она предпочитает меня называть: «Эй, ты!»

Валя откусывает пирожок по краям, облизывает губки, дует на пальцы. Бабка с грохотом швыряет ухват в

угол, задвигает заслонку и, топя сапожищами, подходит к столу и протягивает мне два раскаленных с подпалнигами пирога. Лицо ее изрезано морщинами, глаза под наспуленными бровями смотрят сурово. И вдруг губы ее расплываются в беззубой улыбке.

— Ешь, мальчик... Мамка твоя после обеда придет.

Я в нетерпении разрываю пирог.

— Это... мясо?

Русское слово «мясо» я вспомнил только сейчас, в это мгновение, и удивился, откуда оно вдруг пришло, ведь я не знал его и даже, кажется, не слышал никогда. Я почувствовал необыкновенную радость оттого, что так запросто, без усилия смог его сказать. И вообще это просто непостижимо, сколько русских слов я узнал, запомнил за эти дни, поймал на лету, пока живу в хуторке и играю с желтоволосой Валею.

— Хэ,— ухмыляется Валя.— Мясо захотел... Это требушина!

Все знает эта вертушка. Требушина! Надо спросить у мамы, что это такое. Что бы ни было — вкусно!

Солнце уже стоит высоко. Невесомые белые нити плывут в воздухе, цепляются за тяжелые, поникшие головы подсолнухов. На статной осине возле дома чуть слышно лепечут листья. Вот вздрогнуло дерево, сорвалось несколько листьев, они плавно закружились вокруг осины, как бы силясь удержаться в воздухе, ближе к родной ветке, но не удержались, заскользили по земле, потом покорно легли, словно глядя на тех, что еще беззаботно перешептывались в вышине. Я смотрю на крайнюю избушку рядом с черной копешкой прошлогоднего сена. Туда поселили Пеннеров. Возле избушки никого сейчас не видно. Пеннер-отец работает в поле, жена его — со всем своим выводком, видно, тоже на току. Может, Яшка дома?..

Мы бежим на край хутора. Домик маленький, скособоченный, утонувший в бурьяне, и даже плоская крыша

сто, дерном покрытая, заросла чертополохом. У подгнившего плетня из тала нашли пристанище сухие пегие кусты перекати-поля. Во дворе стоит телега без двух колес и с одной оглоблей, лежит деревянная колода, вокруг которой суетится клушка с уже оперившимися птенцами. Мне чудится, кто-то за мною следит. Я оглядываюсь: на скамеечке, подстелив какую-то ветошь и опершись подбородком на палку, греется на солнышке дедушка Пеннер. Он смотрит на меня долго-долго, качает головой, шевелит лиловыми губами и спрашивает, будто выдыхает: «А?» О чем он думает? Что он хочет сказать? Почему он смотрит на меня не то с укором, не то с жалостью?..

Жалко дедушку. Он — такой маленький, высохший — сам похож сейчас на куст перекати-поля у плетня.

— Уйдем, — тормозит меня Валя, — уйдем отсюда.

Мне самому хочется скорее уйти. Но надо же что-то сказать дедушке. Говорить: «Здравствуйте!», когда я уже собираюсь уходить, вроде бы неудобно. Сказать: «До свидания!», когда я не произнес ни одного слова, тоже, по моему, нехорошо. Что бы такое у него спросить? Пока я раздумываю, дедушка еще сильнее качает головой, и глаза его становятся еще печальней, и он уже сам задает свой неразрешимый вопрос: «А?»

Мы убегаем.

В конце огорода, вдоль плетня, густо растут акация, тальник и смородина. Здесь уютно, тихо, приятно привлекает солнце, пахнет разогретой землей, прелым сеном, увядшей картофельной ботвой. Носятся вздвигаясь вперед, шелестя прозрачными крылышками, лупоглазые стрекозы. Кружатся, порхают бабочки. Я взбираюсь на плетень, держусь за длинные гибкие ветви тальника и смотрю на темнеющие заросли и дальше — на крутой каменный берег, по которому, вынырнув откуда-то, вьется дорога, и еще дальше — в степь, по которой кочуют, плывут бесконечные таинственные тени.

— Что это... лес?— спрашиваю, опять чувствуя необъяснимую радость оттого, что знаю такое слово.

— Нет... Тугай. Леса дальше,— задумчиво говорит Валя.— Знаешь, сколько в лесу ягод! Был бы папаня дома, поехали бы за вишнями.

Я молчу. Я знаю, Валин папа, тракторист, на фронте бьет сейчас фашистов. Знаю, что он прислал два письма — я видел эти истертые треугольнички за иконой в переднем углу.

— А в тугае... что есть?

— В тугае шиповник, смородина, черемуха. Только меня туда не пускают.

— Страшно?

— Не-е... Комары больно кусучие. И мошка. И заблудиться можно. Или в Ишим ненароком упасть.

— Ишим?

— Река так называется.

Мне вспоминается наша речушка, оставшаяся далеко-далеко. Она была мелкая, берега в ромашках, по краям стоял камыш, плавали кувшинки и лилии.

Я вздыхаю. Ишим. Тугай. Степь... Интересно! Ничего этого я раньше не знал. А они всегда были. И Ишим, и тугай, и степь. А что там, за Ишимом, за тугаем, за степью?.. И там, что ли, живут люди? Какие люди? И откуда они? Не с Волги же все, как мы?..

Дни проходят, проплывают, как тени за Ишимом. Уже и солнце погружается в пасмурь, и туманы по утрам окутывают хутор, и тогда кажется, один дом бабки Кудрявцевой остался на всем белом свете. Лопухи и ботва в огороде потемнели, съжились, пожухли. Ветер, забавляясь, гонит мимо хутора прозрачные шары перекати-поля. На небе курлычат журавли.

Вот и кончилась работа на току. Мама занята стиркой, а бабка Кудрявцева топит баню. Из низкой узкой двери валит густой черный дым. Из дыма выскакивает бабка в кирзовых сапогах и восхищенно шамкает:

— Ох, и банька будет! Ох, и попаримся же сегодня! Сомневаюсь, что в этой яме, пропахшей угаром, можно мыться. Только измазюкаешься, как черт.

Видно, и папа так считает. Придя с поля, он постоял возле бабкиной бани, помог натаскать воды, потом, сильно сгибаясь, залез в ее нутро, изрыгавшее клубы едкого дыма, но тут же выскочил и махнул рукой.

— Пойду-ка лучше в Ишиме искупаюсь.

По тропе меж густых зарослей бурьяна и полыни мы спускаемся в низину. Навстречу нам со стороны тугая бредут задумчивые коровы. Папа идет быстрым шагом, и я еле-еле успеваю за ним. Как он изменился за эти недели! Похудел, загорел, оброс. Жидкие волосы прилипли ко лбу. Лицо вытянулось, и теперь нос кажется еще мощней. Гимнастерка выцвела на спине и плечах до белизны. В обвислые штанины галифе цепко вкогtilись колючки репейника.

Трота из низины поползла на рыжий бугор.

— Побежали, Гарри! За мно-о-о-й!..

Мы летим по тропинке — выше, выше и, взбежав на вершину бугра, останавливаемся.

Ух ты! Какая ширь! Внизу, тускло поблескивая, лежит река. У берегов вода темная, а к середине она постепенно синее, местами, на отмели, виднеется желтая песчаная полоска. Ни одной живой души вокруг. Справа Ишим зажат с двух сторон каменистым яром, а слева он течет вольно, лениво меж размытых берегов.

Мы спускаемся к реке. Папа быстро раздевается, осторожно входит в воду. Сделав несколько шагов, он восторженно ухает и, широко, сильно загребая, пускается вплавь. Он плывет и плывет против течения, пофыркивает, а я бегу бережком, попеременно прыгая то на одной, то на другой ноге, глубоко увязая в зыбучей супеси.

— Давай! Давай! — кричит, подзадоривает меня папа, с яростью преодолевая течение. Вокруг него вода бурлит, пенится, и только руки его мелькают в воздухе.

Я уже бегу во всю прыть, спотыкаюсь, падаю и вновь бегу, бегу...

— Сто-ой! Сда-а-юсссь!— слышу позади папин голос.

Папа уже свернул к середине, встал на ноги, пошел по намытой песчаной косе. Там он стоит долго, высокий, сильный, смелый, один посередине незнакомой степной реки.

На берегу папа крепко, до красноты, растирается полотенцем, подпрыгивает, бодро одевается и все приговаривает с каким-то упорством:

— Хорошо, Гарри, хорошо!.. Хорошо!

Я не совсем понимаю, что он хочет этим сказать, но мне почему-то кажется, что не так уж все плохо.

Наутро, когда я просыпаюсь, мама сообщает, что папа уехал в район. Там должны сказать, где мы будем впредь жить и кем будет папа работать.

Мобилизация на сельскохозяйственные работы кончилась.

III

«Сюда я прибыл,
и отсюда начинается мой путь».

(Эва Штригматтер)

Быкам спешить некуда. Они тупо смотрят на убитую, в трещинах, дорогу, мотают головами, похлестывают себя грязными, с фиолетовыми колючками на конце хвостами. И степь, и лесочки, и стерня, и эта длинная-длинная дорога — все им до скуки привычно, знакомо. Ничем их не удивить.

Не спешит и возница. Он сидит, скрестив ноги, на передке, на охапке сена, застеленного старой фуфайкой, и глухо поет что-то бесконечное. Странная песня: он ее завел, когда быки втащили наш рыдван через мост на

берег, и с тех пор бормочет и бормочет. Я пытаюсь уловить мелодию, но мне слышится одно и то же — монотонное, заунывное: «Лял-ля-ля, буль-буль-буль». У него широкое, скуластое лицо, плоский нос, маленькие, твердые уши. На бороде редкие волосинки — сосчитать можно. Он сильно щурится, и без того сужая узкие глазщелки. Иногда он достает из кармана толстых кожаных штанов пузырек, сыплет на ладонь щепоть бурого с зеленой жевательного табаку, аккуратно закладывает его за губу. Тогда песня ненадолго умолкает.

Скрипит рыдван. Скрипят колеса. Скрипит ярмо. Скрип-скрип... И дороге нет конца.

Сколько же можно ехать? Ехали на машине, потом на поезде, потом опять на машине, а теперь на телеге, запряженной быками. С кем я теперь играть буду? Нет ни Яшки Пеннера, ни Вали Кудрявцевой. Когда я взбирался на телегу, Валя разревелась и убежала в огород. Бабка улыбалась, совала мне сверток с пирогами, а я тоже крепился изо всех сил. Мама все уговаривала, чтобы я сбегал к Пеннерам, простился с девочками и дедушкой, но я упрямо мотал головой. Я представил угрюмо-растерянный взгляд дедушки Пеннера, задающего загадочный, с придыханием вопрос: «А?», на который я не мог ответить. Я чувствовал, что поступаю гадко, но пересилить себя не мог. И мама, заметив мою растерянность, оставила меня в покое.

На рыдване все наши пожитки: кровать с блестящими шарами на спинках, черный с замком сундук и баул, туго перетянутый багажным ремнем. Мама сидит на сундуке, забавляет Эльму, перебирает, улыбаясь, ее пальчики. Поразительно, до чего тихой и покладистой стала эта плакса! Я оседлал баул и смотрю по сторонам. Вокруг степь, лесочки да небо. Думаешь, за тем перевалом будет что-то другое, ждешь, ждешь, всматриваешься до боли в глазах вперед, и быки преодолевают, наконец, и этот перевал, но там опять степь, лесочки, бесконечная

дорога; и возница, выплюнув изжеванный табак, крутит над головой прутом, чтобы быки не совсем уснули, и опять затягивает гортанное: «Ля-ля-ля, буль-буль-буль...»

Папе не сидится на телеге. Такая езда не по нему. Он идет рядом по обочине дороги, играет с Эльмой в прятки, успевает забегать в колок, потом догоняет нас и угощает то вишнями, то костянкой.

— Жуть, сколько ягод в лесу,— сообщает он.— Костяника прямо горит под ногами. А как она красиво растет — смотри!

В самом деле — прелесть! Рубиново-красные прозрачные ягодки похожи на бусинки. Они расположены плотно, кисточкой, и эти грозди как бы обрамлены мелкими, в рубчиках, листиками. В руках у папы все красиво. Даже букет разноцветных осенних листьев горит в его руках ярче, чем в лесу.

— Вишня уже ссыхает,— замечает мама.— Некому собирать... Еще далеко нам ехать?

Папа сам не знает. Он спрашивает у возницы и переводит его слова.

— Километров двадцать от района.

И мне только теперь становится ясно, что означает в устах возницы «дуайсат». Иногда возница и папа перебрасываются словами, и мне чудится, что они говорят по-русски, но одни и те же слова они произносят настолько разное, что я ничего не понимаю.

Мама сомневается: мы тащимся уже два часа, а на жилье и намека нет. Возница сдвигает шапку на лоб, скребет бритый затылок.

— Э, бог знайт... Может, дуайсат пет...

— Двадцать пять! — поражается мама.— Как здесь все далеко! У нас там одна деревня кончается, другая начинается.

— Да,— соглашается папа.— Здесь простор! Раз-

долье! Смотри, какие поля! А земля-то — сплошь чернозем!

Дорога то в лесок нырнет, то опушку обогнет, то в ковильную степь выходит. Скрипят колеса. Заученным шагом бредут быки.

Возница смотрит на меня, щурится.

— Эй, баранчук... пацанка... спать хочет?

Меня и впрямь клонит ко сну. Глаза смыкаются, все вокруг точно плывет куда-то, покачивается. Папа миглом сооружает лежбище, придвинув баул к сундуку.

Вознице, должно быть, надоело петь. Ему хочется поговорить.

— Тебя звать как? — спрашивает он папу.

— А вас?

— Мой — Тайшык.

— Как?.. Тайчик?

— Ия... Тайшык.

— А я — Гертер.

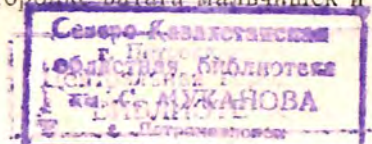
— Кертр?! — изумленно спрашивает возница. — Каких только имен у орысов нету!.. Кертр...

Мама начинает вдруг хохотать. Что-то ее рассмешило в этом разговоре. Папа тоже смеется. Глядя на них, добродушно похихикивает и возница. Я улыбаюсь: убаюкала меня тряская телега. Мне теперь кажется, будто и колеса скрипят: «Тай-шик, тай-шик, тай-шик...»

Долго ли мы едем — не знаю. Будит меня радостный крик возницы:

— Эй, баранчук, приехали!.. Аул!

Я протираю глаза и ничего не понимаю. Солнце опустилось за лесом. Быки стоят, понуро свесив головы, возле какого-то дома. То здесь, то там темнеют еще дома, совсем не похожие на хуторские. И запах здесь иной, незнакомый. Папа опускает меня на землю рядом с мамой и вместе с Тайшиком заносит черный сундук в дом. На нас глазают в сторонке ватага мальчишек и не-



263423

сколько взрослых в непривычном одеянии. Все они кажутся похожими на Тайщика.

Аул?.. Это и есть аул? Деревня?

Здесь будет папа работать?

Здесь мы будем жить?

IV.

«Приветливое лицо — лучшее блюдо».

(Немецкая поговорка)

«Не отрекайся от того, у кого приветливое лицо».

(Казахская поговорка)

Все ниже кружатся кудлатые тучи над аулом. Все холоднее дыхание ветра. Еще три дня назад папа сказал: «Будет снег». Носнега все нет. Есть одна промозглая стынь. Земля — черная, обнаженная — затвердела, промерзла до звона.

Я уже сделал три круга, и мне осталось еще семь. Я должен разогреть жилы, расширить сосуды и раздышать легкие свежим воздухом. Таков наказ папы. Мама считает, что вовсе необязательно бегать, как дураку, возле дома. Воздуха достаточно и в комнате: дует-то во все щели. Но папа настоял на своем: десять кругов. Мне не совсем ясно, почему именно десять, а не девять или одиннадцать. Наверное, думаю я, потому, что до десяти я давно считаю без записки.

За папой приезжали еще ночью: кто-то где-то сильно занемог. И я раздумываю: а ведь и в самом деле неинтересно без толку бегать по кругу. Стоит ли мне делать оставшиеся семь кругов? Никто не видит и не знает, сколько раз я бегал. А потом могу же я и со счета сбиться.

На помойке стрекочут две сороки, о чем-то возбужденно переговариваются. «Кто-то идет, кто-то идет, идет,

идет», — будто надрывается одна. Другая вторит: «Вот он, вот он, вот идет». Действительно, к помойке подкрадывается рыжий шелудивый пес. Он нехотя обнюхивает то место, куда мама выливает помои, и с любопытством смотрит на меня, склоняя голову то налево, то направо. Потом пес уходит, презрительно косясь на умолкших белобоких сплетниц, а они суетливо вышагивают-вышагивают по помойке и пуще прежнего стрекочут. «Он ушел, он ушел, он ушел», — твердит одна. Другая перебивает ее: «Ну да, ушел, ну да, ушел, ушел, ушел».

Гости будут. Раз сороки слетелись к дому — жди гостей. Болтуны, откуда какие гости?.. Нет, все же сделаю еще семь кругов. Нехорошо обманывать.

По широкой пустынной улице семенит тетка. Длинный подол трепыхается на ветру. Одной рукой она стягивает борта плюшевого не то пальто, не то халата, в другой держит маленькое деревянное ведерко. Больше всего меня поражает ее головной убор: не платок, не шаль, а что-то большое, белое, развевающееся и спереди и сзади. Будто сделала прорезь в простыне и натянула ее через голову. Такого я еще не видывал. Она идет быстро-быстро, бочком, бочком, маленькая, легкая, кажется, вот-вот взлетит. С удивлением и страхом убеждаюсь, что идет тетка к нам. Опрометью бросаюсь в дом.

— Мама, мама... ка-ка-казашка идет.

— Что-о?

Мама не в духе. Опять печка дымит, и дрова сырые, шипят, не разгораются.

Дверь раскрывается без стука, и, окутанная облаком пара, вырастает на пороге гостья. Она приветливо улыбается.

— Э... амаи?.. Живой-здоровый?

— Здравствуйте, — отвечает мама.

У гостьи черные открытые глаза, широкие скулы, узкие, как у девчонки, плечи. Она садится на краешек сундука, ставит на стол деревянное ведерко, завязанное

цветастой тряпицей, и быстро оглядывает наше убогое жилье.

— Э, карош... карош... Баранчук аман? Твой аман?..— радостно лопочет гостья.— Мой — Магрипа...

«Магрипа»,— повторяю я про себя. Непривычно, но звучно. Значит, тетя Магрипа, а я буду называть ее, наверное, тante Магрипа. Забавное сочетание!

— Вот,— говорит тante Магрипа, указывая на ведро.— Маленький баранчук молока...

Мама не сразу понимает, что говорит гостья, а поняв, переливает молоко в кастрюлю и приносит деньги. Гостья машет обеими руками.

— Нет, нет... не надо. Зачем?

Мама в недоумении. Она благодарно улыбается и угощает гостью своей стряпней — слоеным пирогом. Гостья довольна.

— Э... першыл нету? —

Это она про папу. Першыл — значит фельдшер.

— В Каратал уехал.

— Ладно... ладно...

Тante Магрипа озирается вокруг, улыбается, языком прицокивает.

— Баранчук маленький молоко надо... Еще таскайт буду,— уходя, говорит она.

— Ты не заметил, где она живет?— спрашивает мама.

— Кажется, во-он в той завалюшке.

Мы с мамой долго смотрим в окно.

По широкой пустынной улице быстро-быстро семенит наша гостья. Ветер развеивает подол ее длинного платья, треплет странный головной убор...

Я вновь отправляюсь на улицу. Мне надо честно проделать еще семь кругов. Я бегу ровно, легко, как учил меня папа. Грудью вперед, локти слегка прижаты к туловищу, кисти рук расслаблены, дышу только носом.

Три шага — вдох, четыре шага — выдох. Вот так, так, так... Уже последний, десятый, круг...

— Хе-хе-хе...

На меня пялят глаза двое. Когда они подошли? Откуда? Один приземистый, плотный, узкоглазый, в рваном, клочья наружу, колушке, перетянута в поясе волосистой бечевкой. Вид у него вызывающий, дерзкий. Другой стройный, ростом выше меня, светлолиц, в пушистом лисьем треухе, стеганой фуфайке и высоких сапогах. Мы внимательно разглядываем друг друга.

— Тамыр будем? — спрашивает приземистый и улыбается во весь рот.

Этот начинает мне нравится. Непонятно только, чего он от меня хочет. Я тоже улыбаюсь, выказывая свое искреннее расположение к нему.

— Мен — Ойрат, — тычет он себя в грудь. — Сен?

— Гарри.

— А? — щерится приземистый. — Кари?

Светлолицего, оказывается, зовут Салим.

Ойрат вдруг хватает меня за шиворот и, подставив ногу, швыряет на землю. Я холодею от возмущения и вероломства и смотрю на дом: может, скорее дать дёру? Но Ойрат смеется, хлопает меня по плечу, говорит: «Давай, давай!» и показывает, что желает со мной бороться. Я никогда в жизни не боролся и в этот миг подумал, что бороться — значит неожиданно свалить соперника на землю. Я резко вскакиваю и обеими руками изо всех сил толкаю Ойрата в грудь. Он, точно подрубленный, шмякнется оземь. Шапка слетает с его головы. Салим испуганно шарахается в сторону, решив, наверно, что теперь я накинусь на него. Ойрат обескуражен. Он неуклюже поднимается и начинает ругаться:

— Дурак!..

Лихорадочно соображаю, чем бы ответить. Я совсем не знаю ругательных слов. Можно б было, пожалуй, обозвать его обезьяной, но он ведь не поймет. К тому же

надо было сказать сразу, а не раздумывать. А Ойрат опять хватает меня за бока, ухмыляется, подбадривает: «Давай, давай!» Я обеими руками вцепляюсь в волосяную бечевку, силюсь приподнять его — какой там. Чурбан! Раскорячит свои кривые ноги, и с места не сдвинешь. Может, сверху навалиться, попытаться придавить его? Но он тогда нырнет под грудь и перекинет меня через голову. Пока я размышляю, он прижимает меня к себе, делает рывок в сторону и бросает через бедро. Я вскакиваю и опять хватаю его за волосяную бечевку, поднатужившись, кручу-верчу его вокруг себя, а он, потоптавшись, делает подножку и валится на меня. Ойрат доволен. Ойрат похохатывает. Меня это начинает злить. Не может быть, чтобы он меня поборол! Я ведь выше его. Но Ойрат без труда одолевает меня и в третий раз. Больно колет в животе, к ногам подкатывается слабость, кружится голова.

— Вставай, вставай,— говорит Ойрат.

Досадно все же. Может, со светлолицым схлестнуться? Но тот, наверно, сильнее Ойрата.

— Давай наперегонки,— предлагаю я.— Ну, бегать, бегать вокруг дома. Вот так... Кто быстрее, а?

Ойрат кривит губы.

— Мой не собака!

Мама стучит в окно: пора обедать. А мне совсем не хочется расставаться с новыми друзьями. Им тоже не нравится, что я ухожу. Раздевшись, смотрю в окно: светлолицего не видно, а Ойрат, не торопясь, вразвалку идет по улице к той самой завалухе через два дома. Неужели и он там живет? Неужели давешняя наша гостья, принесшая молоко, его мама?..

V

«Где они, слезы вчерашние?
Где он, прошлогодний снег?»

(Бертольд Брехт)

Еще не совсем проснувшись, я понял: что-то случилось. Такая необычная стояла тишина, какой и ночью не бывает. Словно уши заткнуты ватой. Не свистит ветер, в трубе не гудит, и ворон горластых не слышно.

Мягко, без привычного скрипа распахивается дверь, и ноздри мои мгновенно улавливают новый запах, который, клубясь, волной подкатывается ко мне, обволакивает мою постель и бодрит, свежит, будто грудь распирает. Мама опускает у печки вязанку только что нарубленных березовых поленьев, и я опять отмечаю про себя необычную приглушенность звуков.

— Посмотри, Гарри, как красиво идет снег!

Я отшвыриваю одеяло и лну к окну. За окном неслышно кружатся крупные белые хлопья. Снег плотно укутал землю, и дома точно вырядились в белые мохнатые шапки. Кажется, с неба, из-за плотной серой пелены, бесконечной волной опускается на землю, колыхаясь, белая воздушная кисея.

— Видишь, видишь?!— радуется вместе со мной мама. Щеки ее покраснелись, глаза поблескивают, от нее идет тот же свежий, бодрящий запах.

Я заметил, что мама восторгается любой погодой. Если солнечно и тепло, она говорит: «Красота! Даже в дом неохота заходить». Когда черный ливень неистово хлещет землю, мама ликует: «Чудо-дождь! Все вычистит, всю грязь смое!» И даже пасмурные, хмурые дни ее радуют: «Как уютно! Самое время домашним делом заняться».

Снег — это, конечно, прекрасно, но мне-то как быть в моих обшарпанных ботиночках и жидковатом пальтишке?

После завтрака я вновь устраиваюсь у окна. Снег, кажется, идет ленивей, медленней, и мне хочется, чтобы он шел подольше, и тогда, может, не надо будет бегать вокруг дома десять раз.

На заснеженном пустыре появляется Ойрат.

— Мама, я пойду на улицу?

— Только не надолго!

На улице безветренно, тепло, но рыхлый снег сразу набивается в ботинки. Я выковыриваю его указательным пальцем и плетусь след в след за Ойратом. Возле дома Салима, единственного под железной крышей во всем ауле, нас встречает рыжий пес и добродушно помахивает хвостом, дескать, ладно уж, заходите, коли пришли.

В передней председательского дома многолюдно. Нас обдает жаром и кислотоватым, удушливым запахом. Прямо от порога полукругом сидят на кошме старухи и молодайки в верхней одежде, и перед каждой из них стоит одно или два ведра с молоком. Седенький, весь в черном, благообразный старичок, исполненный важности и достоинства, восседает на подушке и крутит сепаратор, точно священнодействует. Монотонно и самодовольно жужжит сепаратор, будто мурлычет, млея от истомы, сытый кот. Из одного краника широкой тугой струей, пенясь, льется синеватый обрат, из другого — тянется тонкая, но густая желтоватая струйка сливок. Как не важничать старику, если во всем ауле только один сепаратор, и все эти длиннополые — женщины — должны покорно сидеть и ждать, пока он, тесть самого баскармы и аульный мулла, прокрутит их молоко? Он точно сросся со своим сепаратором и даже не меняет отрешенной позы в то время, как женщины — кто цокая языком, кто качая головой — с любопытством разглядывают меня, робко переминающегося с ноги на ногу за спиной Ойрата. Для многих в ауле я все еще странный пришелец, и мое появление сопровождается неизменными словами — «пер-

шыл», «бала», «Кари», которые в сочетании означают: «Гарри — сын фельдшера».

Салима дома нет, он отправился поить жеребца, и Ойрат озабоченно чешет затылок. Он, конечно, надеялся, что после того, как сепаратор умолкнет, ему, Салиму и мне выпадет счастье слизать, жмурясь от удовольствия, густые сливки на чашечках и краниках сепаратора. Но, видно, сегодня нам это не суждено, и Ойрат, вздохнув, предлагает:

— Айда к Кабдешу!

Солнце робко пытается пробиться сквозь толщу туч, снег уже не идет, осел и теперь не так сильно лезет в ботинки.

Мы идем мимо школы. Здесь в самом разгаре потешная баталия. Грудь в грудь сошлись противники в глубоком сугробе. Особенно стараются предводители двух сторон — оба долговязые, крепкие. Один из них вдруг подбегает к Ойрату, подсаживает его себе на шею, выбегает в круг, взбрыкивая, точно строптивый конь. Другой — горбоносый, пучеглазый, разгоряченный — тотчас хватается за меня, тоже усаживает верхом и кричит: «Держись!» Перестрелка снежками затихает, всем охота полюбоваться поединком предводителей. «Хватай! Вали! Дави!» — рычит подо мной горбоносый, и я соображаю, что должен схватить Ойрата за руку и стянуть с плеч того крепыша. Наши «кони» яросто сходятся, неистовствуют, толкаются, и толпа вокруг орет, подзадоривает. Азарт охватывает и меня, и я изо всех сил норовлю вцепиться в истертый воротничок ойратова колушка. Мой «скакун» неожиданно заходит сбоку и, почувствовав, что я все-таки изловчился и поймал соперника за ворот, резко отскакивает в сторону, и Ойрат вместе со своим «конем», потеряв равновесие, валится в сугроб. Ошалевшая от восторга толпа набрасывается на поверженных, устраивая кучу-малу, а горбоносый, не опуская меня на землю и ликуя, вприпрыжку несется в школу и невпопад орет:

«Гутен таг! Гутен таг! Анна унд Марта баден». Я вконец растерян. То, что горбоносый надрывается «Гутен таг!»— «Добрый день!», еще куда ни шло, но с какой стати он вспомнил каких-то Анну и Марту, которые к тому же купаются,— совершенно непостижимо. Горбоносый врывается в класс, опускает меня у доски, сует мне в руку мел и вытягивается передо мной, подобострастно тараща глаза:

— Их бшн хойте орднер.¹

Класс хохочет от острот горбоносого, а у меня от растерянности и стыда пылают уши. Тут-то и появляется Очкастый Ганс с журналом под мышкой.

— Что такое?

— Это наш новый учитель немецкого языка,— продолжает дурачиться горбоносый.

Глаза Очкастого Ганса улыбаются из-за толстых стекол очков. Собственно, зовут его не так. Я слышал, как папа называл учителя, что-то очень похоже на «А-ха-ха-ка-ха-тович», но ни я, ни мама не можем запомнить его мудреное имя и потому зовем просто: Очкастый Ганс. Был такой шульмайстер в маминной деревне.

— В десятый класс тебе, пожалуй, рановато, а?— говорит Очкастый Ганс.

В классе опять смеются.

— Ну, ладно... Иди...

Пусто в длинном коридоре. На стене — плакаты, газеты, карты. У входа на скамейке стоит громадный бак с железной кружкой на цепи.

— Этот Шаймурат — настоящий жынды... дурной,— говорит Ойрат.

— Какой Шаймурат?

— Да вот этот... на котором ты скакал...

¹ Сегодня я дежурный (нем.).

А-а... этот горбоносый и впрямь, видать, забияка, задира, надо будет подальше от него держаться.

За школой тянется балка, за ней — то здесь, то там — темнеют неказистые домики. Самый крайний упирается в березовый колок. Здесь живет Кабдеш. От дома по глубокому снегу тянутся две колени, а между ними — еще один след от дрог. Видно, недавно отправился куда-то на своих быках расторопный Тайшик.

Мы входим в низкую, душную комнату с одним окошком, и пестрый, тонконогий теленок, привязанный к косяку, глядя на нас печальными, навывкате, глазами, в задумчивости пускает тоненькую, вялую струйку. Босоногая девчужка, вскрикнув, прыгает с дощатого настила и подставляет помятую консервную банку.

Кабдеш лежит на сундуке в углу, укрытый лоскутковым одеялом. У него большая голова, глубокие, с желтизной, глаза и дряблый, старческий рот. Острые скулы выширают из-под бледной кожи. В груди его булькает, свистит, хрипит.

— Больной... совсем больной, — удрученно качает головой Ойрат.

Всего полтора месяца проучился нынче Кабдеш: злая хворь доконала его. Из брезентовой сумки у изголовья Кабдеш достает тетради и показывает нам свои последние рисунки: лес, корова с теленком, женщина доит кобылицу, усатый воин, вскинув саблю, мчится на скакуне во весь опор.

— Амагельды-батыр, — поясняет Кабдеш.

О таком герое я не слышал, и Кабдеш добавляет:

— Казахский Чапай.

А-а... теперь понятно. Чапаева-то я знаю, у него есть бурка и папаха. И еще двух батыров я знаю — Ворошилова и Буденного. У одного из них — огромный вороной конь в белых чулках. На фотографии видел. Еще очень хорошо рисует Кабдеш танки и самолеты, на которых ярко горят красные звезды.

— Карандашей нет,— вздыхает Кабдеш.— Один только остался... вот.

Он показывает толстый, шестигранный огрызок: с одного конца красный, с другого — синий.

Мама Кабдеша разгребает длинными щипцами уголья в печке, вытаскивает из-под золы истыканную ножом, подгорелую по краям лепешку.

— Нан! Нан!— галдят малыши.

На круглое выравненное место в печке мама Кабдеша закладывает только что раскатанную лепешку, зарывает золой, сверху кучей сгребаёт тускло мерцающие уголья. Потом она стелет поверх кошмы в середине скатерку, разламывает горячую лепешку, всем — и мне с Ойратом — сует по куску и принимается разливать щербатым половником кислое молоко из заляпанной кадки по деревянным чашкам.

— Айран! Айран!— ликует горластая орава.

Квашеное молоко пузырится, острый дух бьет в ноздри. Кабдеш садится, прислонясь спиной к подушке и, покашливая, вяло жует свою долю. Чашка дрожит в его иссохших руках...

Мы уходим от Кабдеша притихшие и опечаленные. Солнце так и не пробило толщу туч. Дует низовой холодный ветер. Я прикрываю ладошками озябшие уши. Ойрат сворачивает по балке вниз.

— Там тамыр Мырзаш есть...

— Какой Мырзаш?

— Омара и Коспана сын.

— Что за Омар и Коспан?

— Кузнецы.

Я, поеживаясь, смотрю на продолговатое, из дерна сложенное строение между колхозным амбаром и фермой. Мало ли у Ойрата тамыров в этом ауле...

— Нет, нет,— решительно говорю я.— Домой надо... домой.

Аул хоть и маленький, а разбросан далеко. Промозг-

лая мгла нависает над ним, а ветер уж снег метет с бугров.

Возвращаюсь я промерзшим насквозь. Скорее бросаюсь к печке и жду, когда мне непременно попадет за долгую самовольную отлучку. С мамой еще можно поладить и столковаться, но с папой шутки плохи. Но он начинает вдруг говорить совсем про другое.

— Околет мальчишка. Надо что-то придумать.

— Я из своей жакетки пальто ему выкрою,— отвечает мама.— Немного бы ваты на подкладку.

— Что вата? Мне в Коктереке верблюжью шерсть обещали. А Афанасий из Козловки, может, пимы скажет.

— Хорошо бы...

От такого разговора становится сразу теплей.

— Знаете, чему я сегодня научился? Вот! Нан, айран, жаксы, жаман, сут, кар, Омар, Коспан, бала...

— Боже!— изумляется мама.— Эдак он мигом у нас казахом станет.

Польщенный похвалой, продолжаю:

— Жол — дорога. Сиыр — корова...

— Молодец!— говорит папа.— Учись. Казахский может тебе еще пригодиться.

— Каким образом?— недоумевает мама.— Думаешь, долго здесь пробудем?

— Кто знает, Аня. Кто знает...

Маме не нравятся такие слова. Она считает, что война очень скоро кончится, и мы вернемся домой. Это может случиться уже весной. Мечтая так, она поглядывает на папу, ей хочется знать, что думает он, но папа ничего не говорит. Да и где он, этот дом? Я напрягаю память, силюсь вообразить, представить те места, которые мама называет родным краем, и — точно сквозь дымку вижу площадь с трибуной в центре кантона, излучину реки, еще... еще... бабушкин дом в деревне... с летней мазанкой-бакхаузом, с сараем, высокими деревянными воротами

ми и... и... больше ничего. Все остальное чудится долгой, бесконечной дорогой, по которой мы едем на машине, потом — в товарном поезде, потом — на грузовике, и наконец на арбе, запряженной быками...

VI

«Счастье и стекло, как легко они бьются».

(Немецкая поговорка)

Очкастый Ганс здороваётся и поспешно снимает очки. Косматое облако пара, оседая, стелется по полу и тает. Протирая платком запотевшие в тепле стекла очков, учитель близоруко щурится на нас, и я замечаю в его глазах радость. «Наверно, узнал про мой день рождения», — догадываюсь я. Еще утром папа с мамой дружно протукали торжественный туш и с длинными пожеланиями и наставлениями вручили мне подарки. В позов, на ситцевой подкладке пальто с медными, со звездочками, пуговицами я с трудом узнал мамину жакетку. Папа, долго манипулируя, протянул мне черные, тупоносые, с косыми голенищами валенки. И не успел я ахнуть и по достоинству оценить значение этих даров, как мама подвела Эльму, которая изо всех сил вцепилась в узкую продолговатую коробку. Лишь после долгих уговоров, заревев в три ручья, сестренка швырнула мне коробку с цветными карандашами. Шесть штук! Мне не терпится скорее их починить.

— Вечером будешь писать контрольную работу, — говорит папа. — Тогда и очиню.

Так уж повелось: в день рождения я рисую и пишу в толстой клеенчатой тетради, которая хранится на дне сундука. С тех пор, как я появился на свет, папа аккуратно фиксирует все этапы моего развития. Вес, рост, болезни, которыми я переболел, поступки и проступки

достоинства и недостатки — все в этой тетради. Правда, в последнее время папа пишет обо мне все реже и меньше. Видимо, времени мало. А может, мои достоинства с каждым годом убывают, и обо мне уже просто нечего писать? За весь прошлый год папа записал всего одну фразу, которую я обронил случайно: «Чем больше человеку лет, тем меньше у него ума». Записывая мое изречение, папа долго хохотал, а что тут смешного?

— Свершилось,— говорит, сияя, Очкастый Ганс.— Выдюжили, Давид Павлович! Сейчас по телефону слушал сообщение Совинформбюро...

— Ну-ка, ну-ка... Порадуйте нас.

— Отстояли Москву! Не вышло у них. Не вышло! Так и передали: «Враг понес огромные потери в живой силе и технике».

Очкастый Ганс достает помятую карту, густо испещренную разноцветными — жирными и тонкими — линиями, точками, кружочками. «Москва», — читаю я там, куда упирается указательный палец учителя. К этим буквам полукругом нацелены остриями черные пики. Навстречу им, впиваясь, вклиниваясь, тянутся красные стрелки. Учитель называет армии, фронты, фамилии генералов, тычет пальцем туда-сюда.

— Вот видите: Тула, Клин, Солнечногорск...

— Истра, Можайск,— вторит папа.

— Главный удар... Вспомогательный удар...

Они колдуют над картой и так горячо обсуждают прошедшие и возможные события, что кажется, судьба войны решается здесь, в ауле, за нашим колченогим столом.

— Скоро, значит, война кончится?— нетерпеливо спрашивает мама.

— Может, и скоро. Вот остановили их. Разбили. Теперь только бы гнать и гнать... Чтоб не опомнились...

— Сейчас бы второй фронт, — непонятно говорит папа. У Очкастого Ганса от волнения вспотели очки.

— О-о, тогда бы завыл Гитлер, как волк в капкане.

Учитель и папа молчат, замороженно смотрят на карту. Мама разливает по кружкам кофе из поджаренного ячменя. Рассеянный взгляд Очкастого Ганса скользит по мне.

— У меня... у меня, — бормочу я, краснея, — день рождения.

— Что, что? — не понимает учитель. — Какой день?

— Рождения, — вконец смущаюсь я. — Вот подарки...

— Хм-м... — Учитель улыбается. — И сколько тебе лет?

— Семь!

— О, джигит! Значит, скоро в школу?.. Читать еще не умеешь?

— Умеет, умеет, — отвечает за меня мама.

— Молодец! — Учитель шарит у себя в карманах. — Что бы тебе подарить, а?

— Весть, которую вы нам принесли, — лучший подарок, — говорит папа.

— Бери! — учитель протягивает мне железную ручку с двумя наконечниками — с карандашом и пером. — А раз умеешь читать, принесу в следующий раз книжку.

Очкастый Ганс спешит в школу рассказать ученикам о разгроме фашистов под Москвой, а папа — в сельсовет просить подводу, чтобы съездить в Жанаталап.

Счастливый сегодня день! Только холодно. Мороз обжигает лицо, сбивает дыхание. Снег лежит твердыми пластами, сухой, скрипучий. Солнце стало совсем немощным. К обеду оно еле-еле выглянет из-за скирды кладовщика Альмиша и, обойдя крыши двух соседних домов, бессильно соскальзывает в березовый лесок за околицей. Короткие пошли дни.

Сугробов мне теперь бояться нечего. Но валенки

жесткие, и голенища высокие, негнущиеся, идешь, будто на ходулях.

Ойрат сидит на дырявой кошме у единственного окошка и плетет из сыромятной тесьмы плетку в четыре струны. В мазанке сыро. Из-под дощатого настила несет стужей, мерзлой нежитью. Магрипа, которую я теперь тоже зову «апа», днями пропадает на ферме, и Ойрат сам себе — как он говорит — и бий, и ходжа.

На серой, бугристой стене висит фотография. Коке Ойрата, тракторист-стахановец, скуластый, с короткими жесткими волосами, смотрит напряженно, пристально. Лицо его изрыто оспинками, сросшиеся брови насуплены. Фашистов он наверняка бьет, как мух.

— Скоро, Ойрат, твой коке придет.

— Откуда знаешь? Сон видел?

— Очкастому Гансу по телефону сообщили. Всех фашистов перебили под Москвой.

— Кто сказал?

— Ну, этот... мугалим в очках.

— Почему ты говоришь Каныс? Он не Каныс, а Ахметжан. А моя апа сон видела. Хороший сон. Наверное, письмо коке придет.

Ойрат смеется, потешно сужая глаза, и говорит, говорит... Я понимаю его примерно так: он хочет своему коке подарить плеть из тонкой тесьмы, сплетенной в четыре струны, и ручкой с медным кольцом, с кисточкой. Такая же камча у баскармы, но у Ойрата камча будет еще красивей, потому что к ней приложат руки Омар и Коспан, а лучших умельцев, чем они, во всей округе не найдешь. Хороша будет камча, что и говорить, только зачем она нужна трактористу?.. У Ойрата разгораются глаза. Так будет конь. Еще до войны отец обещал ему достать стригунка. Да, да, стригунок будет высокий, быстрый, со звездочкой на лбу, может быть, даже белоногий, как на фотографии в настольном календаре.

Магрипа-апа хорошо поджаривает пшеницу. На-

стоящее лакомство! Пшеницу перебирают, провеняют, замачивают в молоке, потом, разбухшую, мягкую, немного подсушивают и поджаривают на сливочном масле в черном казанчике. Из серой, насквозь пропитанной жиром торбы за печкой Ойрат выгребает кесушку поджаренной пшеницы, и мы начинаем хрумтеть. Ойрат при этом учит меня казахским словам. Я уже знаю названия всех предметов в доме, и сегодня, когда мы будем писать контрольную работу, я нацарапаю несколько казахских слов в толстую клеенчатую тетрадку. Вот удивится папа! А сейчас я учусь считать до десяти.

— Бір,— начинает Ойрат.

— Бир,— повторяю я.

— Не бир, а бір,— поправляет Ойрат.

— Бур,— соглашаюсь я.

— Не бур и не бир, а бір, бір, бір,— начинает выходить из себя Ойрат.

— Бр, бр, бр,— повышаю я тоже голос.

— А-а...— кривится Ойрат.— Ладно. Екі.

— Екі.

— Екі.

— Еке.

— Тьфу, дурной твой язык!— возмущается Ойрат.— Екі.

— Экію!— дергаюсь я от старания.

— Э, ладно,— безнадежно машет рукой Ойрат и показывает три пальца.— Үш!

— Уш. Уч.

— Ха-ха-ха... «Уч!» Ладно. Төрт!

— Торт. Турт. Тюрт.

Нет, ни «о», ни «у», ни «ю» не соответствуют казахскому «о» с перекладной.

— Ладно.— Ойрат растопыривает перед моим лицом пятерню.— Бес!

Вот «бес» у меня получается как надо. И «он» — десять — я произношу правильно. Главное — считать до де-

сяти, а дальше — проще простого. Скажешь «он» и добавляешь «бір», «екі», «үш». И так до двадцати — «жырма» и опять добавляешь «бір», «екі», «үш»... Тридцать — «отыз» — тоже большой трудности не представляет. Но зато сорок — «қырык» — для меня совершенно неодолимый перевал. Из пяти звуков я в состоянии правильно выговаривать только «р» посередке. Остальные звуки я произношу кое-как, приближенно.

Наевшись жареной пшеницы и научившись бойко считать до сорока, я возвращаюсь домой. В затишье под окном мама пилит дрова. Наспех сколоченные козлы шатаются, и бревно ерзает, и пила виляет, взвизгивает. Мама считает, что дрова только тогда дрова, когда они распилены, расколоты и аккуратно сложены у стенки крыльца. Папа придерживается другого мнения: главное, чтобы были дрова, а пилить и колоть — всегда, мол, успеется. Мама раскраснелась, пряди волос выбились из-под клетчатой шали.

— Давай-ка, Гарри, попробуем вдвоем. Ты только ручку держи.

Пила длинная, а рука моя короткая. Приходится каждый раз делать два шажка вперед и два — назад. Куда пила, туда и я. А пила не слушается, выгибается дугой, скулит, как щенок, норовит выскочить из рук. Мама злится, рывком тянет пилу вместе со мной, а назад пила не идет — защемило. Попробуй вытащи! Мама бьет колуном по концу плахи, надеясь отбить комлевый чурбак, и пила с визгом выскакивает и, упруго изгибаясь, звеня, шлепается на снег.

— К черту! — говорит мама. — Убиться можно.

Мы начинаем новую дорожку; желтые опилки, кружась, падают на мои черные валенки, здесь им теплее, чем на снегу; пила нехотя вгрызается в стывшее тело березы, пила уже дошла почти до половины плахи, и тут ее опять заклинивает. Мама ругает и пилу, и плаху, а заодно и папу.

— Не может он ее, дрянь ржавую, керосином протереть, поточить, зубья развести!

Я помалкиваю, хотя и полагаю, что пила и папа тут совершенно ни при чем. Просто мы с мамой не умеем пилить. У меня силенок маловато, а мама до этого ни разу в жизни не держала в руках пилу...

Вечером после ужина при свете лампы-семилинейки я пишу контрольную работу. Папа с мамой волнуются: им хочется, чтобы я писал и рисовал не только лучше, чем в прошлом году, но красивей, грамотней, чем даже я могу сейчас. Я рисую дом, немного прямей и с большим количеством окон и дверей, чем прошлогодний, и дым из трубы валит густой, черный, косматый,— и мама, смеясь, поясняет, дескать, это оттого, что у нас дрова сырые, потому что папе недосуг браться за пилу, а возле дома, на пустыре, стоят, растопырив руки, три человечка, и под ними я пишу прямыми печатными буквами — «Гарри», «Ойрат», «Салим». И еще я рисую колодец с кривым шестом-журавлем, с бадьей на одном конце и с колесом — на другом. Потом я пишу пять строк разных слов — русских, немецких и казахских вперемешку. Папа стоит рядом, внимательно следит за направлением моего карандаша и время от времени предупреждает: «Не так! Не так же!» Я и сам смутно догадываюсь, что не так: есть у меня одна слабость — некоторые буквы я упорно пишу вверх тормашками. Потом я решаю примеры на сложение и вычитание в пределах десятка, после чего папа еще раз просматривает мой годовой отчет и размахисто подписывает внизу. «Так писал и рисовал Гарри 15 декабря 1941 года».

За стеной визгливо скрипит снег, фыркает лошадь, кто-то стучит в окно. Выглянув, папа говорит:

— Кажется, коктерекский почтальон.

Папа выходит и тут же возвращается с письмом.

— Алтайский край... Пан-кру-шихинский район...— читает он обратный адрес.

— Это от мамы!

Мама выхватывает письмо, вспарывает конверт и, присев на край кровати, начинает читать. Руки ее дрожат, нижняя губа закушена, взгляд напряженно бегаёт по строчкам... Вдруг мама бледнеет, застывает как-то странно, будто не может ни вздохнуть, ни выдохнуть, страшно изменившимся голосом шепчет: «Отто! Отто!» и падает ничком на кровать, обняв подушку. Папа бросается к ней, хватая ее за трясущиеся плечи.

— Аня!.. Аня!..

Я замираю. Холод сковывает меня, стягивает кожу на голове.

Ветер свищет за окном, завывает в трубе.

Чуть потрескивает фитиль лампы. На голой стене мельтешат уродливые тени.

Где-то идет война...

VII

Белая кутерьма за окном. Неделями неистовствует буря, шквалом набрасывается на стены, воеет на все лады. Пришла пора большой метели. Дома занесло по самые крыши. От крыльца папа прорыл туннель и каждое утро откапывает окно возле печки. Второе окно давно завалено снегом и папа его не откапывает. Во-первых, уверяет он, бесполезно, все равно опять завалит, а во-вторых, в комнате не так сильно дует. Иногда буря, выбившись из сил, делает передышку, ненадолго затихает, и тогда ребятня катается на санках. Мы ставим санки рядом с печной трубой, черным зевом зияющей из-под снежной горы, и, оттолкнувшись, мчимся по пологому склону до самого колодца через улицу. Потом, выбиваясь из сил — тащить-то санки во-он сколько! — опять взбираемся на гору, смотрим по сторонам, на безбрежное снежное пространство, испытывая нечто похожее на оторопь оттого, что мы, такие маленькне, стоим так

высоко, что даже крыша дома оказывается под нашими ногами.

Сегодня неожиданно прояснилось, ветер затаил дыханье, и папа с Тайшиком с утра уехали в район. Тайшик — за горючим, папа — за медикаментами. Я бренькаю на балалайке, учусь четко отбивать такт в темпе вальса, потому что вечером я должен без запинки аккомпанировать «Над волнами». Это не очень трудно: большим пальцем правой руки по струнам вверх — раз, остальными пальцами, ровно касаясь струн, два удара вниз — два-три.левой рукой следует точно прижимать струны на соответствующих ладах и делать вовремя переход, не сбиваясь с такта, не делая паузы, не дожидаясь, пока папа, солирующий на скрипке, качнется всем корпусом налево или направо. Тренькать, когда никто не играет и не поет и ты не чувствуешь смену тональности в мелодии, — совсем не интересно. Получается однообразное «трень-трик-брик, трень-трик-брик». На музыку не похоже. Иногда мотив напевает мама, а я аккомпанирую: получается вполне прилично. Но сейчас мама не поет. Весть о гибели дяди Отто подшибла ее. Вместо ямочек на щеках появилась складка возле рта. Однажды мама принялась рассказывать, как позапрошлым летом приезжал в отпуск дядя Отто, мамин младший брат, крепкий, веселый, весь в ремнях, в хромовых сапогах, как он ходил со мной по деревне, по домам, в гости и ради шутки, бывало, сажал меня в большой котел, встроенный в печь, в котором обычно поджаривали тыквенные семечки. Рассказывая, мама вдруг расплакалась, вместе с ней разревелась Эльма, а меня била противная дрожь...

— Эй, ты пой! Хватит тебе по струнам шлепать, — говорит Салим.

Что бы такое ему спеть? Ага, вот эту. И тональность та же, и такт, как у вальса «Над волнами». Мама часто поет эту песню.

Du hast Diamanten und Perlen,
Hast alles, was Menschenbegehr...

Салим открывает рот от изумления. Такой песни он никогда не слышал.

Du hast die schönsten Augen —
Mein Liebchen, was willst du mehr?¹

— Уа, давай, давай!— подхлестывает меня Салим. Я делаю невольную паузу: дальше — не знаю слов. Но ведь можно спеть этот куплет еще раз и даже много раз: Салим слов все равно не понимает. Меня воодушевляет эта мысль, и я пою сначала и громче:

— Du hast Diamanten und Perlen...

Салим явно заинтригован. Он даже забыл, что хворый дедушка, сухонький старичок, послал его к нам за грелкой.

— Ну, как?— спрашиваю.

— Нешауа,— говорит Салим.— Ты... по-немецки пел?

— Да.

— А у фашистов такой же язык?

— Не знаю. С фашистами не разговаривал.

Я и сам уже однажды об этом подумал: так ли говорят фашисты, как мы, или по-другому. И вообще можно ли говорить вместо «фашисты»— немцы, а вместо «немцы»— фашисты? Надо спросить об этом у папы. Он всегда понятно объясняет. Бывает, мальчишки допытывают: «А ты взаправду немец?» И я отвечаю: «Немец, только другой». Дальше меня не спрашивают, будто уже все ясно, но мне-то как раз ничего и не ясно.

¹ Популярная немецкая песня. Слова Г. Гейне.

«У тебя брильянты и жемчуг,

У тебя все, что можно пожелать,

У тебя прекрасные глаза,—

Моя дорогая, чего же ты еще хочешь?»

(подстрочный перевод)

— Теперь пой ты.

Салима не надо долго упрашивать.

— Давай свою домбру!

Он неуверенно берет балалайку, долго прилаживает-ся к ней, потом начинает всей пятерней хлестать по тугим струнам. Сузив глаза и запрокинув голову, он зычно и долго тянет:

— О-о-о-э-э-э-эй!..

Мы с мамой в недоумении. Что это с моим другом-тамыром? Разве так поют? Бедный, аж посинел от натуги. Наконец, Салим переводит дыхание и что-то быстро, быстро проговаривает. Я различаю лишь одно слово — «паровоз». Мне слышится:

— Паровоз а-та-та,

Паровоз а-та-та.

Салим отбил себе пальцы, слишком жестки струны балалайки, не как у домбры, но он вошел в азарт, ерзает на стуле, мотает головой и вдруг, к нашему удивлению и восторгу, запекает в растяжку ту же песню, которую только что пел я, да с таким забавным выговором, да так потешно гримасничая, что мы с мамой невольно улыбаемся:

— Ду хасыт диманты онт берлин.

Он поет так заразительно, что и я начинаю ему подпевать, и при этом мне кажется значительно интересней произносить слова так, как Салим.

— Хасыт алыс бас мешынбекер...

Мама, глядя на нас, улыбается, а мы, увлеченные, довольные, поем все вновь и вновь.

Папа приезжает вечером, промерзший, задумчивый, и после ужина открывает семейный совет. Семейные советы папа проводит лишь по особо важным случаям. Мы чинно садимся за стол, готовясь выслушать и обсудить необыкновенную весть. Папа явно тянет, наконец, как бы между прочим произносит слово «повестка», от которого мама вздрагивает и сразу бледнеет.

— А мы как?!

Папа молчит, постукивает пальцем по столу.

— Как все, так и вы. Сама понимаешь... Возможно, облздрав еще оставит. Медработников и так не хватает. Если нет, переедете весной к Гульде.

— У тети Гульды нам будет очень хорошо,— подаю я голос на правах члена семейного совета.

Папа усмехается. Мама еще больше мрачнеет. Не понимаю, отчего она так встревожилась. Ведь ничего страшного не случилось. Теперь мой папа тоже будет на фронте или в трудармии — какая разница? А у тети Гульды мы заживем весело. Она такая хохотунья, выдумщица. И с Альмой и Зельмой, мои двоюродными сестрами, тоже не заскучаешь.

Радость по случаю предстоящего переезда и возможных перемен в нашей жизни живет во мне весь следующий день, обрастая радужными надеждами, в то время, как мама, осунувшаяся за одну ночь, хлопочет у печки, стряпает брецели и подсушивает на противне сухари, украдкой вытирая набегающие слезы, а папа во дворе сосредоточенно пилит березовые плахи и разделяет колуном кряжистые, звонкие от мороза чурбаки.

— Мама, зачем нам дрова? Как папа уедет, мы ведь сразу переедем...

Мама смотрит на меня с укоризной.

— Глупыш ты...

В день прощания, когда перед разлукой мы сидим за нашим обшарпанным столом, моя радость, взлелеянная в душе за эти два дня, вдруг странным образом улетучивается, и меня охватывает непостижимый, необъяснимый страх, и такая же, как тогда, когда мы получили весть о гибели дяди Отто, жуткая слабость подкрадывается к моим ногам, и я не могу, просто не в состоянии проглотить кусочек хлеба или глоток ячменного кофе, будто мне захлестнули горло. И мама не ест. И папа кое-как одолевает полстакана блеклого, с густым осадком кофе,

и такая выморочная тишина обрушивается на нас, что все начинает зыбиться перед глазами. Я не могу сказать ни слова. Я вообще не в силах разомкнуть челюсти. Мама молчит. И папа молчит. И Эльма, закутанная в одеяло, молчит. И это становится уже невыносимо, словно вот-вот случится что-то страшное, непоправимое. Но тут слышится скрип полозьев и знакомый голос:

— Эй, Кертр!..

Мы вскакиваем, наспех одеваемся. Папа бросает хлюпкий рюкзак на широкие сани, укрывает его сеном, поверх кидает овчинный тулуп, взятый у кого-то до райцентра. Потом он обнимает меня, подбрасывает, как маленького, выше своей головы, и я до боли в скулах сжимаю зубы, чтобы не разреветься.

— Будь молодцом!— говорит папа.

Теперь папа целует ничего не понимающую Эльму, обнимает маму. Тайшик деликатно отворачивается.

— Нешауа, баранчук-пацанка,— утешает он меня.— Бог даст-та, хорошо все будет..

Тронулись быки, тяжело мотнув головами. Колыхаясь на ухабах, поплыли сани. Пробормотал что-то Тайшик. Папа идет по колее. Он все оборачивается и машет нам, машет. Мы стоим на пустыре, печальные, одинокие, растерянные. Мама обеими руками прижимает к себе Эльму, словно боясь уронить ее невзначай. Глаза у мамы большие, черные, застывшие.

У школы быки сворачивают на большак и спускаются в балку. Из учительской навстречу папе бежит Очкастый Ганс. Они о чем-то говорят, долго жмут друг другу руки. Папа еще раз оборачивается к нам, машет шапкой и тоже скрывается за леском.

Серый день. Серое небо. По щекам мамы катятся слезы...

VIII

«У беды семеро братьев».
(Казахская поговорка)

— Видишь: его зовут Синопа.

Ойрат долго разглядывает круглолицего мальчика в пышной шапке, красиво вышитой меховой шубке, в мягких, тоже из шкуры, ичигах. Мальчик прижимает к груди остроносого лисенка.

Вчера заходил Очкастый Ганс. Посидел немного, поблескивая очками, спросил у мамы, все ли у нас хорошо, потом достал из портфеля книжку.

— Читай, Гарри. Про такого же мальчика, как ты.

В книжке много картинок, и все диковинные. Я второй день не расстаюсь с книжкой. У папы в медпункте на столе целая стопка книг, но они неинтересные: сплошь про болезни.

Ойрату особенно нравится картинка, где узкоглазые и смуглолицые мужчины сидят в кругу, задумчиво курят длинные трубки, а один из них, высокий, сильный, с головы до ног, вдоль спины, украшенный перьями, держит на вытянутых руках туго запеленутого ребенка.

— Казах?— спрашивает Ойрат.

— Нет, индеец.

— Какой индейс?

— Черный индеец.

Мы с Ойратом теперь еще больше подружились. Мама неохотно отпускает меня на улицу и совсем не желает, чтобы я мотался, как беспризорный, по аулу. И потому мы все чаще играем дома. Дни тянутся долго, нудно. Мне кажется, что папа уехал уже давно-давно. Но мама говорит: «Сегодня две недели». От папы мы получили три письма. Первое он написал еще в райцентре и передал с Тайшиком. Второе письмо пришло из Урнека, где папа со спутниками остановился на ночлег. Он писал, что вместе с ним едет и Пеннер, что жена его с целым вывод-

ком детишек осталась одна. Дедушка их, оказывается, умер в начале зимы. Третье письмо было уже из Кызылжара. В ожидании главной комиссии папа временно работал на каком-то заводе. Письмо было хорошее, бодрое. Папа предлагал мне решить одну задачу. Я должен был высчитать, на сколько дней хватит ему маминых сухарей, если из ста двадцати пяти он съел в пути до города двадцать пять, а теперь ест в среднем лишь по пять сухариков. Я не могу справиться с задачей. Меня пугает сама цифра сто двадцать пять. По-моему, это ужасно много. Неужели папа сможет съесть столько сухарей?! Я долго ломаю голову и прихожу к выводу, что, видно, здесь сложением и вычитанием не обойтись. По озадаченному выражению маминого лица мне кажется, что и она не в силах высчитать, на сколько хватит папе сухарей. И все же меня удручает, что я не в состоянии решить задачу. Не решить ее — все равно что не выполнить папиного поручения. А это стыдно и недопустимо. Я говорю о задаче Ойрату. Он долго не понимает, чешет свой круглый затылок, даже глаза закатывает от умственного напряжения, потом спрашивает:

— Сухарь — что такой?

Теперь мой черед чесать затылок. Поразмыслив, я полагаю, что не будет большого греха, если заменить сухарь — «таба-наном», лепешкой. Ойрат сразу понимает, и губы его растягиваются до ушей.

— Э, хорошо! Жизнь твоего коке — во! — Ойрат показывает большой палец. — Сто двадцать пять нан — целая арба.

— А если лепешки маленькие?

— Если маленькие, так одна кошевка будет, — убежденно отвечает Ойрат.

Меня, однако, берут сомнения. Какая там кошевка, когда вся папина поклажа вместе с сухарями поместилась в одном рюкзаке? Может, попросить Очкастого Ганса: он наверняка точно решит, на сколько дней хва-

тит папе сухарей. Ведь когда сухари кончатся, папа, возможно, вернется...

— Айда!— подмигивает Ойрат.

Сегодня мы договорились проведать Кабдеша. Ему, бедному, даже на улицу выходить нельзя. Мама не пускает меня к нему, говорит, у Кабдеша очень опасная болезнь, и я могу заразиться. Мне неловко от этих слов: Ойрату такое и в голову не приходит, а я должен почему-то опасаться и остерегаться. Это же несправедливо. Ойрат показывает мне два больших твердых курта, он их хочет подарить Кабдешу. Мой подарок лучше: я решил отдать ему свои карандаши. Правда, потом за это мама меня отругает, но это будет потом, когда она догадается, а пока Кабдеш будет рисовать свои танки и самолеты и совсем-совсем забудет про то, что он болен и вынужден днями и ночами лежать в постели в душной избенке.

Мы идем знакомой дорогой мимо школы, и Ойрат поет, кувыркается в снегу, похохатывает. Он весел: его апа видела сегодня сон, будто коке Ойрата мчался на вороном скакуне вокруг аула. Он сделал три круга, размахивая над головой новой камчой, слетенной в четыре струны. И соседка, бабка Кульшара, погадав на кумалаках, сказала, что сон вещий: Жуматай вернется домой через три дня или три месяца, и у них начнется новая жизнь. С утра у Ойрата начал дергаться правый глаз, а это, как известно, к добру. Вскоре глаз перестал дергаться, но Ойрат усердно подмигивал и тер кулаком глаз, чтобы не исчезало приятное предчувствие добра.

Вдоль школьной ограды строевым шагом идет десятый класс. Впереди — тщедушный учитель в гимнастерке и галифе. Правый рукав гимнастерки пуст и прихвачен ремнем. Неужели учителю не холодно? Лицо его суровое, решительное, словно окаменелое.

— Абиkey-мугалим,— тихо говорит Ойрат.— Видишь: военное дело.

Военное дело однорукий Абиkey преподает истово. На ребят-старшекласников он смотрит как на красноармейцев и стремится приучить их к суровой армейской дисциплине. Я заметил, что маленький, подтянутый мугалим больше всего любит, чтобы все всегда и всюду шли строем. Своих воспитанников-интернатовцев он ведет и в столовую, и в школу, и на медосмотр непременно в строю. Говорят, он строг и даже жесток, потому что видел и сам проливал кровь, но интернатовцы любят своего шуплого командира.

Абиkey-мугалим круто сворачивает в сторону, приказывает что-то долговязому в длинной шубе, и тот, задрвав голову, лихо запеваёт. Остальные, сделав несколько шагов, орут во всю мощь:

— Эй, эй, гер-ой!..

Хорошая песня: заразительная, грозная. Особенно этот короткий, как бы подстегивающий, будоражащий припев: «Эй, эй, герой!»

Песня резко обрывается, и ученики, взвихривая снег, шагают мимо нас. Долговязый, поровнявшись, дружелюбно подмигивает мне и кричит:

— Гутен таг!

Я узнаю его, горбоносого Шаймурата, и улыбаюсь в ответ.

— Анна унд Марта баден!

Ученики смеются, сбиваются с шага, и фальцет Абиkey-мугалима рассекает морозный воздух:

— Рразговорчки!

Отряд шагает дальше, а учитель вдруг подходит к Ойрату, смотрит на него пристально, странно, будто хочет сказать что-то очень важное, но ничего не говорит, а только хмурится, стискивает зубы, играя желваками, треплет его по плечу и, быстро отвернувшись, семенит, догоняя своих учеников. Ойрат в недоумении. Что означает этот непонятный порыв сдержанного Абиkey-мугалима? Он раньше Ойрата вроде и не замечал...

Домик на опушке леса зажат сугробами. В затишье дремлют под ярмом быки, отрешенно жуют свою жвачку. Вокруг саней топчется Тайшик. На санях-розвальнях лежат топор, пила, волосяной аркан. Видно, в лес собрался Тайшик. Наверное, он тоже колхозник-стахановец. И сено возит, и дрова, и горючее, и почву, и товар для сельпо, и еще он охранник — везде Тайшик.

— Ассалаумагалеёкум! — солидно здоровается Ойрат. Тайшик растерянно моргает-моргает, прячет от Ойрата глаза, что-то бормочет, будто в чем-то провинился.

— Заходите, ребята... Кабдеш дома, дома...

В комнатухе стало вроде еще теснее и сумрачнее. Единственное окошко наполовину завалено снегом. Мама Кабдеша молча хлопочет у печки; в углу копошится неугомонная малышня; печально взирает на нас бычок, привязанный к косяку. Он подрос, окреп, твердо стоит на ногах, и вместо консервной банки валяется у порога помятый, грязный котелок. Кабдеш, покашливая, сует один курт под подушку, другой начинает делить на шесть частей — по числу братьев и сестреночек. Дольки получают у него аккуратные, ровные. Мои карандаши приводят его в восторг. Он разглядывает каждый карандаш в отдельности, рисует на обложке старой тетради разноцветные кружочки и улыбается.

— Рахмет... Спасибо! Ай, хорошо, хорошо...

И мама Кабдеша рада нашему приходу, гладит меня и Ойрата по голове. Рука у ней маленькая, сухая, как у ребенка. И сама она неказистая, хрупкая. Непонятно, как у такой мамы может быть столько детей. На Ойрата она смотрит печально, прижимает его к себе, говорит всякие ласковые слова. Почему сегодня все так ласкают Ойрата? Завидно даже.

Я вспоминаю мамин наказ и спешу домой. Ойрат не хотя поднимается.

Выбравшись из балки, мы замечаем, что возле мазанки Ойрата толпятся люди, стоят заседланные кони.

— Вот! Коке приехал!— вскрикивает Ойрат.— Коке!

Он бежит, спотыкаясь о мерзлые кочки. И я бегу. Улица длинная, пустынная. Дома стоят далеко друг от друга.

— Мой коке! Кокешим!— вопит, лкуча, Ойрат. Кажется, вот-вот он вырвется из своего заскорузлого кожушка.

— Коке, коке!— кричу и я.

Еще не добежав, мы застываем, как вкопанные. Из дома Ойрата доносится надрывный, тягучий, душераздирающий плач.

— ...ай-ай-аа!.. ай-аа-ай!..

Голос пронзительно высок, с хрипотцой. Не плач — стон, неутешная скорбь, нечеловеческая боль. Лошади на привязи прядают ушами, нервная дрожь прокатывается по их закуржавевшим бокам. Притихшие, испуганные, мы входим в сарай. И здесь толпятся женщины, дети. Увидев Ойрата, они молча расступаются, и мы протискиваемся к двери. Она приоткрыта. И комната полна людей. Ничего еще не понимая, мы пробираемся вдоль стенки к печке, пролезаем в закуток...

В середине, на маленьком пятачке, стоит незнакомый бритоголовый мужчина. Бессильно прильнув к его груди, голосит апа Ойрата. Волосы ее растрепаны, глаза опухли, рот перекошен в неутрахающем крике. У стенки напротив двери сидят, поджав ноги, старики. Глаза их прикрыты, лица скорбны, белые, сивые, бурые бороды покоятся на впалых грудях. У порога в углу сбилась, преклонив колени, стайка старух в жаулыках. Неутешно голосит мама Ойрата. Сквозь рыдания прорываются какие-то слова — не то жалоба, не то проклятье. Старухи вздыхают, шепчут что-то, вытирают краешком жаулыка глаза. По смуг-

¹ Женский головной убор (каз.).

лым жестким щекам бритоголового катятся слезинки. Он успокаивает, уговаривает, утешает Магрипу-апа, но та не слышит его слов, обезумело мотает головой и кричит, кричит в низкий потолок мазанки. Ойрат дрожит, ноги его подкашиваются, от страха у него отнялся язык.

— Пойдем... пойдем к нам,— шепчу я ему на ухо.

Ойрат, кажется, и не видит меня. Он падает на колени какого-то старика, и тот гладит его, водит бородой по его лицу.

Мне страшно. Я хочу домой, домой, скорее, скорее к маме. У меня в висках сверлит от этого крика. Я протискиваюсь вдоль стенки к выходу, продираюсь сквозь толпу в сарае.

Над затерявшимся в сугробах аулом мечется скорбный плач...

И лишь потом, потом я вдруг отчетливо пойму горькую, страшную истину: не вернется в родной аул тракторист Жуматай, не войдет он уже в свою плоскокрышую мазанку. Одинокой, неутешной вдовой прокоротает свой век Магрипа. Никогда, никому не скажет больше Ойрат доверчиво и ласково: «Коке, кокешим». И противные человеческой природе слова «война», «смерть», «похоронка»—«черная бумага» оставят в неокрепших душах едва помнящих себя детей горькую зарубку на всю жизнь.

IX

Мучительно однообразно и долго тянулась зима. Неделями неистовствовала снеговертъ, пышными сугробами завалила дома. Сумрак и стынь поселились и в нашем убогом жилье. Маленькому индейцу Синопе, конечно же, жилось в своем вигваме куда лучше. Ему было тепло, он сидел на мягких шкурах у очага, лакомился мясом бизона, ходил на охоту, стрелял из лука, слушал причудливые сказы, играл со зверюшками и видел солнце. И еще при нем всегда был папа.

Мы о нашем папе ничего не знаем. Письма его, наверно, тоже мерзнут на почте в районе. Небось, целая кипа накопилась. Но в такую погоду Тайшик на своих быках дальше фермы не поедет.

Скучно, тоскливо. Даже сырые чурбаки нехотя чадят, шипя и потрескивая, в печке. Где-то воют не то собаки, не то волки. Ночью от мороза стонут бревенчатые стены, скрипят стропила, и ветер норовит сорвать с петель дверь.

— Мама, зима скоро кончится?

— Скоро, Гаррик...

— И тогда приедет папа?

— Приедет, Гаррик...

— А если не приедет, мы поедем к тете Гульде?

— Спи, Гаррик...

Как живется теперь Ойрату и Салиму? Салиму — что?.. Он в асыки играет, с сепараторных чашек сливки слизывает, на домбре тренькает. А Ойрату худо. Егс коке больше никогда не вернется.

— Мама, война скоро кончится?

— Скоро, Гаррик...

— Как только придет весна, да?

— Наверное...

— И мы поедем к тете Гульде?

— Мы вернемся домой...

Эльма чмокает во сне, прижавшись к маме. Она еще не знает, что идет война, не понимает, что у Ойрата больше нет коке и что нашего папы тоже нет дома. У мамы в темноте блестят глаза. Я знаю: она сейчас думает о том, как хорошо будет, когда мы вновь поедем домой.

Стонут бревенчатые стены. Гудит в трубе. Скрипит под шквалом пурги дверь.

— Мама, ты очень хочешь, чтобы пришла весна?

— Очень, Гаррик.

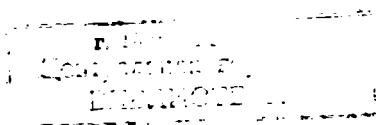
— Я тоже очень...

Весна обрушилась неожиданно и бурно. Могучие

сугробы быстро потемнели, осели под неимоверной тяжестью, истекая лужами и ручьями. С верховья дул беспрестанно теплый ветер; он слизал с бугров остатки снега, обнажил неприглядную черную землю с жалкими побуревшими былками насквозь промерзшей прошлогодней травы. Невнятно забормотали проснувшиеся вдруг балки и овраги. Над колками низко кружились, голодно каркая, вороны. Ишим сурово молчал, будто был безразличен ко всему, что творилось вокруг. Но и по нему, поверх льда, пошла вода, тонкие прутья прибрежных ив все заметнее тянулись к солнцу из-под неотвратимо рыхлевшего снега и ледового припая. Вскоре лед набух, река взбурлилась, всхолмилась глыбами льда, распираемая чудовищной силой. Ночами лед гулко ухал. А еще через несколько дней река словно взбесилась, разыгралась, взбурлила, с необузданной яростью вышла из берегов, стремительно хлынула, все кроша, ломая, заливая на своем пути — по лугам, по равнине — к аулу. Люди встревожились: такого половодья не могли припомнить даже древние старики. Вода подступила вплотную к крайним домам, монотонно плескалась, переливалась, поднималась все выше, а Ишим по-прежнему гневно урчал, ворочал огромные, с дом, камни, вдребезги разрушив мельницу неподалеку от Марьинки, не в силах унять буйный нрав. Зрелище было дикое. Особенно жутко становилось по ночам. Мама почти не спала. Ворочалась, вздыхала, напряженно вслушивалась в ночные шорохи. Ее тревога передавалась и мне, и мы часто вставали, зябко кутались в одежды, выходили во двор, прислушивались к глухим всплескам воды в нескольких шагах от дома. По небу метались тяжелые, рваные тучи, кружились над стешным морем; изредка выглядывала луна, тускло освещая свинцово отливавшуюся поверхность воды. Аул притих, даже собаки примолкли.

— Хоть бы скорее утро настало, — шепотом говорила мама.

056104



...Как бы долго ни тянулись черные, тревожные ночи, но они проходили, и вновь, все больше смелея, всходило солнце над березовыми колками за аулом, и все заметнее оголялась земля, и днем в затишье приятно пригревало, и Ишим не урчал так зловеще, а смиренно катил мутные воды, понемногу отступая, входя в берега, оставляя вдоль недавней кромки диковинные коряги, камыш, ил, камни, бревна и всякую всячину.

Косогор за аулом, возле лесочка, обнажился, подсох. Здесь гомонили мальчишки, играли в асыки, в «чижик», гоняли твердый и тяжелый, как камень, войлочный мяч, устраивали бесконечную борьбу — курес.

На опушке колка между старыми слежавшимися листьями росли подснежники. Ойрат кривил губы, глядя на то, с каким тщанием я их рвал.

— Солить будешь? Кушать будешь?

— Нет, в стаканчик поставлю, на окошко.

— Зачем?

— Красиво будет.

Ойрат усмехался, презрительно цвиркал меж зубов. Сбирать подснежники в глазах моих аульных сверстников было непонятной блажью.

Хрупкие, дымчатые, с голубыми прожилками цветы я приносил домой, и мама бережно ставила их в баночки, стаканы и тихо напевала какие-то неведомые мне песни...

Однажды Салим, по обыкновению взобравшийся на самую верхушку старой березы, вдруг завопил:

— Эй, смотрите! Орыс сюда скачет!

Все разом побросали игры и точно в ожидании великого чуда уставились в сторону колхозного стана, куда вела черная, прямая дорога. Действительно, с верховья легкой рысью приближался всадник.

— Откуда ты знаешь, что орыс?— спросил кто-то.

— Ойбай, да есть у тебя глаза?! Ты глянь, как он в седле болтается! Будто куль с овсом.

Верховой и впрямь неуклюже подпрыгивал в седле в такт рыси, привставая на стремянах.

— И конь не из нашего аула,— заметил, шурясь, Ойрат.

Кое-кто из малышей, тревожно озираясь, побежал в аул. И тут неожиданно и изумленно Салим воскликнул:

— Эй! Это же Кертр! Наш першыл... Пусть глаза мои вытекут — он!

Я похолодел и застыл на месте, держа пучок подснежников. Всадник подъехал, улыбнулся, низким, простуженным голосом позвал меня, и я сначала узнал рюкзак, привязанный к передней луке седла; а потом уже папу. Обросший, худой, в шапке-ушанке, он продолжал сидеть в седле, весело смотрел на меня, потом спешился, передал повод Ойрату, шагнул навстречу. Земля поплыла под моими ногами...

С косогора пошли пешком. Впереди широко вышагивал, посадив меня на плечо, папа. За нами Ойрат и Салим торжественно вели под уздцы гнедую лошадку. Сопровождала нас любопытная ватага мальчишек.

До дома было рукой подать, и все же радостная весть опередила нас, непостижимым образом облетела весь аул. Уже шли, спешили со всех сторон старики, старухи, знакомые и незнакомые, что-то приятное говорили папе и пожимали ему руку. Я и не предполагал, что в нашем ауле столько людей. Возле дома уже собралась толпа, из нее вышла мама, бледная, с сияющими глазами, онемевшая, как и я, от неожиданного счастья, и неся на руках чем-то недовольную, надувшуюся Эльму. Папа опустил меня на землю, порывисто обнял маму, и женщины прослезнились, завздохали, прикладывая концы жаулыков ко рту и глазам. Старики, одобрительно бормоча, бесцеремонно ввалились в наш дом, меня неожиданно оттеснили, и я, ошеломленный, отошел в сторонку, со страхом вдруг вспомнив, что так и не решил ту папину задачу,— и готов был разреветься от досады и обиды.

Промелькнула Магрипа с самоваром, прошмыгнула, волоча подол, старуха Кульшара с двумя лепешками в руке, подошли неразлучные братья Омар и Коспан, хлопнули меня по плечу и тоже исчезли за нашей дверью, а я, стоя в затишье возле соседней шошалы, мучительно вспоминал условия папиной задачки с сухарями.

Никогда до этого не было у нас так многолюдно, как в день возвращения папы. Весь аул побывал у нас в гостях.

Однако надоело слоняться вокруг дома. Может, папа уже забыл про ту злосчастную задачу? Да и зачем она теперь, если сухари наверняка все кончились?

В сумерках мы, наконец, остались одни. Папа, уже побритый, переодетый, оживленный, обнимал и тискал попеременно меня и Эльму, с таинственным видом порылся в рюкзаке и достал оттуда куколку для сестренки, а мне — блестящую губную гармошку. Мама, восхищаясь подарками, перемывала и перетирала посуду, подкручивала фитиль чадившей семплинейки, кочергой шуровала ярко разгоревшиеся в печке дрова.

Папа подошел к полке, на которой лежал черный, обшарпанный по краям футляр, шелкнул замками, достал скрипку. Он долго настраивал ее, пробовал струны, натирал канифолью смычок, играл знакомые пассажи, тряс кистью, шевеля огрубевшими пальцами, и я облегченно вздохнул, поняв, что сегодня о задаче с сухарями речи не будет.

Папа сыграл, по привычке отбивая такт правой, выставленной ногой, вальс «Над волнами», лихую польку «Персидская», краковяк, брагурный военный марш, все то, что входило в его неизменный и стародавний репертуар, что я слышал уже сотни раз и помнил наизусть, и вдруг неожиданно и, должно быть, само собой пальцы его набрели на тягучую и печальную мелодию, которую зимними вечерами иногда вполголоса пела мама. И сейчас, едва прозвучала заключительная нота первого куп-

лежал, мама, опустившись на скамью возле печки и сложив руки на колени, глядя куда-то вдаль, чуть дрожащим голосом затянула:

- Müde kehrt ein Wandersmann zurück...

До меня впервые дошел сокровенный смысл этих слов, я только теперь вник в каждый звук этой простой строчки: «Усталый странник возвращается домой...» Боже, как точно, зримо, явственно! Как прекрасны, какой силой пронизаны слова песни! И папа сильнее завибрировал мизинцем на грифе, медленнее повел смычком, и сочные, грустные и радостные одновременно звуки полились из старого, хрупкого инструмента, согласно и ровно сливаясь с мягким голосом мамы.

—...nach der Heimat, seiner Liebe Glück.

Печальная песня взмыла на невидимых крыльях, голос мамы, справившейся со смущением, становился все крепче, задушевнее, и слова, такие близкие и понятные, бесконечно родная речь, от которой я уже начинал отвыкать, потрясли меня своей первозданной, необъяснимой поэтичностью, и я видел этого усталого путника, грустного странника, возвращающегося после долгих скитаний в родной край, к родному дому, к возлюбленной и покупающего у садовницы, «прелестной и бледной», букет роз перед свиданием. Эта по-старинному несколько сентиментальная — как я теперь понимаю — баллада о разлуке, о любви, о печали и утрате всколыхнула мою душу. Ничего более прекрасного и возвышенного я до этого не слышал, не ощущал. Много ли было подобных счастливых мгновений в моей жизни? Много ли раз я испытывал такое упоение от испостижимо дивного и священного, что очень глубоко упрятано в тайниках души человеческой и очень редко выплескивается наружу, обнажая свою истинную прелесть?..

Глаза мамы лучились, источали счастливый свет, эти мгновения были наградой за долгие-долгие дни и ночи тоски. И голос звучал в эту весеннюю ночь так ясно и

чисто, так проникновенно и задушевно, что каждое слово, каждый звук, каждый оттенок фразы глубоко запали в мою жаждущую душу и потрясли, пронзили меня так, что у меня до сих пор, спустя много лет, почти полжизни, сладостно сжимается сердце, когда я вспоминаю тот вечер. И скрипка выпевала с чуть заметной дрожью, не повторяя, а оттеняя, сопровождая трепетное пение мамы, и папа, взволнованный и помолодевший, совсем не похожий на того обросшего, сутулого всадника в замасленной, нелепой шапке-ушанке, которого я видел днем на вершине косогора, как бы слился со сладкозвучной своей скрипкой, и все же, должно быть, не могла она — слишком долго немо пролежала в футляре — высказать всего, что творилось в сильной груди его, и тогда он, опустив смычок, смотрел на маму благодарно-восхищенными глазами и, улыбаясь, мягко, осторожно, чтобы не вспугнуть песню, вступал вторым голосом и через несколько тактов вновь вскидывал к подбородку скрипку. И я млел от восторга, от непередаваемого очарования и, сжавшись в своем углу за печкой, тихо обливался слезами.

Ничего сейчас не существовало, ничего сейчас не было, кроме этой простодушной в своей радости и печали песни. Была песня, а вместе с ней смутное предчувствие желанной и неминуемой радости и надежды.

Х

«Учись у жизни с юных лет
И на судьбу свою не сетуй».

(Александр Реймген)

Папа всегда вставал рано, теперь же, после возвращения из Кызыл-жара, где ему дали бронь, он вскакивает еще до зари, уходит в медпункт, в сельсовет, а оттуда отправляется с неразлучным чемоданчиком-аптечкой на

попутной подводе или — что случается чаще — пешком в аулы. В радиус папиного фельдшерско-акушерского пункта входит до одиннадцати селений, расположенных в пяти-пятнадцати километрах вокруг нашего аула по ту и по эту сторону Ишима. Но не только медицинское обслуживание — обязанность папы. Он, как я понял, занимается еще и какой-то санитарно-просветительской работой и еще собирает деньги в фонд обороны и теплую одежду для Красной Армии, проводит беседы о положении на фронте и руководит курсами для старшеклассниц по оказанию первой медицинской помощи. Из района папа каждый раз возвращается с каким-нибудь новым поручением, чему радуется как награде. Мама уверяет: слишком много папа берет на себя, эдак и сам скоро ноги протянет, и дом и детей своих забудет. Не знаю... меня во всяком случае папа не забывает, а — наоборот — всюду берет с собой, если, конечно, считает нужным и возможным, и это позволяет мне быть в курсе всех его дел, о которых, впрочем, он и сам рассказывает на семейных советах.

Сегодня спозаранок папа сбежал в Жанаталап и вернулся уже к обеду, дважды переплыв Ишим.

— Страшно? — спрашиваю я.

— Нет. Я знаю место, где течение не сильное. Да и глубоко только у берегов.

Папе ничего не страшно. Он сильный и смелый, и ростом выше всех в ауле. Семь лет служил в Красной Армии. Как память о том совсем недавнем времени остались у него гимнастерка, галифе из прочнейшей диагонали, командирские ремни и блестящие пуговички с выпуклой пятиконечной звездой. На дне сундука лежат петлицы с ромбами и много значков и книжек-удостоверений. Иногда мы с мамой разглядываем и читаем их. Таинственно звучат длинные, непонятные слова: Осовиахим, Освод, Ворошиловский стрелок...

Обедая, папа мельком взглядывает на график, при-

кнопленный к стенке за столом. Я тоже смотрю на аккуратно разграфленный лист, хотя и так знаю, что работу, указанную там на сегодня, папа уже выполнил и, следовательно, есть надежда пойти на рыбалку.

— Приходил кто?— интересуется папа.

— Дедушка Мукал приходил. Старуха, говорит, болеет.

— А у Кабдеша был?

— Я нет. Был Ойрат. Говорит, совсем ему плохо стало.

Папа мрачнеет, отодвигает тарелку и опять косится на график.

— Завтра у тебя медосмотр в нашем ауле,— подсказываю я.

— Верно. Но мы успеем это сделать еще сегодня. Пойдешь со мной?

— Оставь мальчика,— подаст голос мама.— К нему и так всякая зараза пристаёт.

— Ничего. Он должен знать жизнь.

— Для своих лет он знает ее предостаточно.

— Надо всегда и на все смотреть открытыми глазами.

Не знаю, что этим хочет сказать папа, но я, разумеется, с ним вполне согласен, хотя и предпочел бы сейчас рыбалку на старице.

Мукал-ата сидит под навесом у плетня. Всякая всячина навалена вокруг: обрезки, старая обувь, шкатулки, коробки с дратвой, жильными нитками, шилом, варом, молоточками, колодками, набойками. Что-то бурча под нос, он колдует над огромным сапогом с длиннющим голенищем, обшитым изнутри войлоком. У сапожника широкое, мясистое лицо с ровной смуглостью, редкая, сивая бородка, большие навывкате глаза. Круглый, массивный череп выбрит до синевы. Вылинявшая ситцевая рубаха растегнута, и упруго выпирает могучая грудь.

Руки перевиты синими набухшими жилами, и на запястьях кустисто топорщится щетина. Над ящиком-подставкой круглится тугой живот. Пот струйками стекает по толстой шее... В молодости, рассказывают, Муқан-ата был борцом-балуаном и даже одно время разъезжал по степи в свите знаменитого силача и певца-акына Балуана-Шолака.

— Здравствуйте, старина!

На приветствие папы сапожник отвечает не сразу. С силой натягивает дратву, шилом прокалывает новую дырку.

— Здрясти...

Папа, присев на корточки, рассматривает инструменты сапожника, пробует прочность жильных ниток.

— Бабушке не лучше?

— Иншалла... Бог даст — лучше будет... Банки есть? Укол-мукол не надо.

Папа открывает аптечку, протирает руки нашатырным спиртом, одевает халат и идет в дом ставить бабке банки, которые, как я успел заметить, старики и старухи в этом ауле предпочитают всем лекарствам.

Я молча наблюдаю за работой ата. Все у него получается легко и ловко, без натуги. Он тоже молчит и лишь изредка бросает на меня скошенный взгляд. Спросил бы ата о чем-нибудь, и тогда я, может быть, ответил бы по-казахски, и он сразу заулыбался бы, похлопал бы меня по плечу, сказал бы: «Ай, маладес, Кари!» Я давно уже понял, что аулчанам нравится, когда я кстати лопочу казахские слова. Старики в таких случаях одобрительно кивают, малыши радуются и подражают моему забавному произношению, а женщины удивленно цокают, прикладывают палец к щеке и норовят угостить меня то баурсаком — поджаренным в бараньем сале пончиком, то горстью толченого проса, то куртотом. Так и во время мальчишеских игр. Стоишь, бывает, в сторонке, смотришь букой, молчишь, и ты вроде бы чужой, незванный

пришелец, а заговоришь на языке аулчап — пусть корявом, ломаном — и ты уже «свой». Наверное, и моя мама обрадовалась бы очень, если, скажем, Ойрат или Тайшик заговорили бы вдруг на немецком языке. Есть непостижимая сила в родном языке, в родной речи!

Ата сегодня, должно быть, не в духе. Меня так и подмывает спросить про Шаймурата, сына сапожника; что-то не видно его в последнее время. Но кустистые брови хмуро сходятся на переносице Мукана-ата, и я решаюсь о чем-либо его спросить.

Выходит папа, складывает головастые баночки в отделение чемодана-аптечки. Сапожник молчит.

— Что, отец, от сыновей вестей нет?

— Нешауа нет,— говорит ата, в сердцах швыряя шило в ящичек с инструментами.— Шорт знайт!.. Слышал: Шаймурат в райвоенкомат ездит. Каждый день ездит. На фронт отправляй, говорит. Керман-собаку бить буду, говорит.

— Да-а-а...— неопределенно тянет папа.

Сапожник яростно сплевывает.

— А старуха как? А я как? А дом, скотина как?.. Калмурат на фронте. Ладно! Жалмурат на фронте. Ладно! А Шаймурат зачем? Два сына мало? А?!

С досадой отшвыривает ата тяжеленный сапог.

Вот оно что... Недавно возле школы, у качелей, в кругу ребят, Шаймурат говорил, что пойдет добровольцем на фронт. Не желает он отсиживаться тыловой крысой, а с колхозной работой как-нибудь и бабы справятся. Я стоял рядом, и он вдруг щелкнул меня ногтем по голове и подмигнул ребятам. Я понял, что задира, озорник Шаймурат сейчас выкинет какую-нибудь шутку.

— Ну, Кари, отправлюсь на фронт — худо будет твоим баурам-сородичам. Сразу капут им сделаю!

Ребята хохотнули, а на мне точно кожа загорелась, и обида захлестнула горло.

— Фашисты мне не сородичи!

— Как это? Кровь-то небось одна?!

— Не одна, не одна! Я... я... другой немец. Я... с Волги.

Я понимал, что Шаймурат не хотел мне зла, а все же задохнулся от слез, убежал и с тех пор старался не попадаться ему на глаза...

— Да-а...— Папе, видно, хочется утешить старика.— Бабушка поправится. Не беспокойтесь. Лишь бы не простужалась.

Сапожник скребет пятерней бритый череп.

— Бог даст-та здоровый будет. А не даст-та больной будет. Рахмет, першыл... Может, найдешь кожу — сапоги тебе сошью.

— Спасибо, отец!

Наш аул небольшой, намного меньше, чем Гнаденфлюр, где мы жили раньше, но дома́ стоят далеко друг от друга, разделенные к тому же длинным саем. Окрест шумят лесочки-колки, вдоль балки цепью тянутся березки, а в низине, по берегам Ишима, темнеет густой тугай. Вокруг дворов плотно растет сочная, зеленая трава. По ней приятно бегать босиком: она пружинит и щекочет ступни. Черная колея посередине аула тоже нынче зарастает гусиной травкой. Раньше по этой дороге ездили на телегах, иногда — говорят — даже машины проезжали, теперь по ней едет один Тайшик на скрипучей арбе.

Папа идет скоро, легко. Я еле успеваю за ним. Мы уже приближаемся к кузнице, и я, забегая вперед и заглядывая папе в лицо, наконец, решаюсь спросить о том, что меня мучает уже несколько дней.

— Папа, правда, люди разные бывают?

— Что?.. А... Конечно.

— И немцы тоже разные?

— Очень разные.

— И фашисты самые плохие?

Папа замедляет ход, сбоку смотрит на меня.

— А, вон ты о чем... Эти вообще не люди.

- А мы, значит, хорошие?
- Мы советские. И фашисты наши враги.

До чего просто и понятно! Неужели долговязый Шаймурат, проучившись десять лет, не знает этого? Ну, если не знает, спросил бы у Очкастого Ганса. Или у моего папы.

- Только не все это понимают, да?
- Не все, Гарри. К сожалению...

Ворота кузни широко распахнуты, и оттуда доносится знакомый перестук: дзинь-так-тук. Кузница — ветхая, приземистая, из дерна — утопает в буйном бурьяне. У входа — куча ржавого железа, обуглившиеся чурки, зола. Вперемешку стоят покалеченные конные грабли, сенокосилка, плуг, лобогрейка.

Перестук сменяется коротким шипением, и в черном проеме, клубясь, вздымается облако сизого пара. Он быстро тает, улечувивается, и возле чана с грязной водой вырастают братья — Омар и Коспан.

- Э, Кертр, аман, аман!

У старшего, Омара, рука обмотана тряпницей. Папа хмурится, едва взглянув.

- Почему на перевязку не приходите?

— Уай... — Омар сдвигает на затылок черную круглую шапочку. — Шепука!

- Ия... Чепуха, — вторит Коспан.

Странная манера у братьев: старший слово обронит, младший его тут же подхватывает.

- Айда, Кертр, в дом, — говорит Омар.

- Ия... в дом, — поддерживает Коспан.

Братья живут вместе, работают вместе, даже в гостях сидят рядышком. И жесты, движения, походка — одинаковы. Омар только чуть приземстей, покряжистей, а Коспан — поосанистей, поподжаристей. Вот и сейчас они идут через кузницу, через длинный, узкий хлев, сплетенный из тала.

Верхняя половина компатушки застелена деревянным полом. Убранство, как у всех в ауле: большой сундук с горкой цветастых корпе — стеганых одеял и подушек. На полу кошма с узорами. Посередке — низенький круглый столик. Возле печурки, в закутке, — домашняя утварь. В нижнем углу сидит на шкурке жепщина в белом жаулыке, в плюшевом камзоле и крутит ручную мельницу. Напротив месит тесто другая, тоже в жаулыке и в таком же камзоле.

Братья усаживают нас на почетное место и устраиваются, скрестив ноги, рядом. Омар, морщась, начинает разматывать тряпку.

— Так не пойдет. Видите: присохло, — укоризненно говорит папа. — Дайте тазик и теплую воду.

Что-то говорит Омар, его точь-в-точь повторяет Коспан, слова Коспана подхватывает женщина, что месит тесто, и передает своей соседке, что крутит мельницу, а той, что крутит мельницу, видно, передавать уже некому, и потому она проворно встает и бросается к самовару, попискивающему у входа. В тазик с теплой водой папа сыплет марганцовку и заставляет Омара опустить руку.

Я только теперь замечаю мальца, уютно устроившегося возле сундука с одеялами. Он сидит себе на подстилке и макает кусок лепешки в сметану в деревянной чашке. Поймав мой взгляд, растягивает губы до ушей.

— Эй, Кари... хе-хе...

Ну вот, и этот уже меня знает. Кари да Кари. Эдак я скоро настоящее имя свое забуду... Я догадываюсь, что это Мырзаш, у которого, как говорил Ойрат, «два атес йес», и дружелюбно улыбаюсь в ответ. Омар, глядя на нас, умиленно бормочет:

— Ай, айналайн!..

— Айналайн-ай! — тотчас отзывается Коспан.

— Подай мальцу каймак, — говорит Омар.

— Да, да, мальцу каймак дай, — откликается Коспан.

Та, что месит тесто, подхватывает эти слова и переда-

ег их той, что крутит мельницу, и той, что крутит мельницу, видно, некому их больше передавать, и потому она проворно встает и подает мне кесушку сметаны и кусок лепешки.

— Ешь, ешь,— говорит папа по-немецки, видя мою нерешительность.

Чистенький Мырзаш, гладенький, ухоженный. Точно заласканный барашек. Неплохо он устроился при двух мамах и двух папах. Видно, все четверо души в нем не чают. Может, из-за него и живут-то так дружно, неразлучно братья?

Пока мы, переглядываясь, улетаем за обе щеки лепешку, папа меняет Омару повязку и с любопытством разглядывает ручную мельницу.

— Надо такой — сделаем,— говорит Омар.

— Ия, ия... сделаем,— кивает Қоспан.

Конечно, надо. Во всей округе ни одной мельницы. А с полмешком зерна стоит ли ехать в Марьинку? Папа затсева разговор о плате, но Омар отмахивается:

— Э, ладно... Шепука!

— Ия, ия... чепуха...— соглашается Қоспан.

Солнце клонится к тугаю. Со стороны Ишима бредет стадо. Горластый Темеш-пастух, не щадя глотки, самозабвенно поет «Сырымбет», и в воздухе долго дрожит томительно-прощальное «карында-ас-а-ай...» Мальчишки и женщины-молодки спешат навстречу, ловят телят, гонят их домой. Некоторые сосунки все же вырываются, вприпрыжку несутся к своим матерям, услышав их зазывный рев, нетерпеливо тычутся мордой в набухшее вымя. И тогда поднимается истошный гвалт: «Ойбай! Вон, вон! Держи!.. Оморок его возьми!», и дети опрометью бегут к непослушному теленку, стараясь изловить его, пока он не высосал все молоко. А тут с другого конца подкрадывается еще одна напасть: возвращаются с выпаса — копытцами цок-цок — овцы и козы, оглашая аул неисто-

вым бляением. Мечутся молодки, спотыкаясь о подол длинного платья, лают собаки. Самая суматошливая пора в ауле — вечер.

Маленькая жена Тайшика донт корову. Заметив нас, смущенно оправляет платье, чуть прикрывает лицо жаулыком, неслышно шевелит губами на папино приветствие.

В шохале¹ по-вечернему сумрачно. В середине под треногой горит огонь, бросая вокруг зыбкий отблеск. В закопченном казанчике слабо булькает. В углу на кошме копошатся малыши. Тайшик, сложив натруженные руки на колени, отрешенно смотрит на огонь.

— Э, Кертр, пристая я... Сапсем пристал...

Тяжело Тайшику. Попробуй потрясись от зари до ночи то на сенокосилке, то на граблях, то на волокуше. А потом собирай сено в копешки, потом скирдуй, а позже вези его на скотобазу и опять скирдуй. Намахаешься! Но не от одной работы устал Тайшик. Угнетает его неизлечимая хворь сына.

Я опускаюсь на седло с обломанной лукой. Кабдеш с усиленным поворачивает ко мне голову и пытается улыбнуться. Морщинистый лоб его покрыт испариной. Руки точно обугленные кривые сучья. С весны лежмя лежит Кабдеш.

Папа щупает его пульс, выстукивает, выслушивает грудь. Потом медленно складывает стетоскоп, достает из чемоданчика пузырек.

— Рыбный жир... По столовой ложке...

Кабдеш порывисто дышит, шевелит пальцами.

— И-и, ал-ла...— вздыхает Тайшик.

— За почтой не ездили?— спрашивает папа.

— Какая сейчас почта?.. Баскарма вчера в районе был. Три черные бумаги, говорят, привез. А газеты Ахметжап взял.

¹ Летнее помещение, сплетенное из талы в форме юрты (каз.).

— Похоронки кому?

— Не знаю... Время придет — баскарма стариков соберет. Пойдут — скажут... — Тайшик бормочет что-то и проводит ладонями по лицу.

Малыши обступают нас, глазами постреливают. Папа начинает шарить у себя в карманах.

— Кампит! Кампит! — вопят малыши, увидев плитку гематогена.

По пути папа заходит еще в несколько домов, оставляя меня на улице. Вечерний гвалт в ауле утих, со скотиной все управились, и теперь на пустыре за домом дедушки Сергалия резвится ватага мальчишек.

К Очкастому Гансу папа хочет завернуть лишь на минутку, чтобы просмотреть последние газеты.

— О, добрый вечер!.. Проходите, проходите...

Гостевая комната в доме учителя обставлена совсем по-другому. Из-за ярко-красного полога виднеется опрятно прибранная никелированная кровать. Высокий стол накрыт скатертью с кистями. Этажерка в углу заставлена книгами.

Очкастый Ганс и папа начинают оживленно рассказывать друг другу. Я смутно понимаю, что речь идет о событиях на фронте, о последних сообщениях совинформбюро. Есть что-то загадочное и величественно-торжественное в этом слове. Я произношу его правильно, с шиком. Ни Ойрат, ни Салим, никто другой из знакомых мне аулчан не в состоянии выговорить его точно. Забавнее всех произносит это слово дедушка Сергали: «Сауынпормыбуйра».

Разговаривая, папа быстро просматривает газеты, а Очкастый Ганс нетерпеливо водит карандашом по карте. Я между тем разглядываю фотографии на простенке.

— Ну, пойдет нынче Гарри в школу? — спрашивает вдруг учитель.

— Вряд ли... Марьянка больно далека. Да и знакомых там нет. Как такого отправишь?

— Так пусть у нас учится.

— В казахской школе?!

— Ну и что? Разве у нас плохая школа?

— Но... он же языка не знает.

— Научится. У детей это быстро...

Уши вспыхивают у меня. Неужели это возможно? Читать, правда, умею, писать — тоже, хотя и печатными буквами. Таблицу умножения наполовину вызубрил и для меня все равно что — «айнмал айнс» или «дважды два». Да и по-казахски кое-что кумекаю. Кажется, и папа об этом же думает.

— Вообще-то... Вы считаете... можно?

— Почему же нет? Мальчик смысленный.

От Очкастого Ганса мы возвращаемся поздно. Тихо в ауле. Только слышно, как на том краю лениво твякает собачка да перхают в загонах овцы...

А потом я никак не могу уснуть и все думаю о школе. Интересно, скоро папа поставит этот вопрос на семейном совете? Из мрака всплывают то грузный, суровый Муканата с огромным сапогом в руке, то братья-кузнецы, мототонно отбивающие на наковальне какую-то железку, то измученное, с жутким оскалом лицо Кабдеша, то Тайшик, удрученно вздыхающий: «И-и, ал-ла...»

— Замучил мальчика. Видишь: ворочается, не спит, — будто издалека доносится голос мамы.

Наконец, сон одолевает меня, все видения исчезают, растворяясь во мраке, но тут раздается стук, кто-то за окном зовет: «Першыл! Першыл!», и я сквозь дрему слышу, как вскакивает и быстро одевается папа, хватая аптечку и что-то шепчет маме. Скрип удаляющейся телеги — последнее, что фиксируется в моем сознании.

— Папы еще нет? — спрашиваю я утром.

— Нет. Из Каратала ночью приезжали, — устало отвечает мама.

Да-а... спокойные ночи — редкость. Почти каждое утро я слышу от мамы:

— Из Мектепа приезжали... Из Кенеса... Из Кокте-река... Из Жанажола... Из Козловки...

Я знаю наизусть все названия окрестных аулов.

XI

«Осень под ноги бросала
мне плоды рукою щедрой,
а в лицо кидала ветер...»

(Рудольф Жакмьен)

В непроходимых тугайных зарослях сонно жужжат шмели, пахнет прелью; воздух пропитан вязким духом разнотравья и переспелых ягод — черемухи, черной смородины, шиповника, боярки. Тугай — нетронутое царство — ярмарка щедрой осени. Только некому собирать эти дары, некому любоваться буйными красотоми.

— Ай, ай... Сколько добра пропадает, — удручается папа.

Свисают тяжелые, налитые упругим соком грозди над головой, глянцевице поблескивают — бери, сколько хочешь, сколько не лень. В безмолвии стоят деревья, кусты, покрытые паутинкой, увитые хмелем с цепкими плетями. И в этих диковинных зарослях бродят с утра только двое — я да папа. Собирать черемуху и смородину в свое удовольствие — приятно и полезно, но мы ее собираем лишь чуть-чуть, между делом, ибо должны в первую очередь выполнить государственный заказ. Эти слова папа впервые произнес недавно, когда вернулся из Марынки с новым поручением: собирать лекарственные травы. Их оказалось в наших краях тьма-тьмуца. С тех пор, отправляясь в аулы, папа неизменно берет меня с собой, потому что без меня — при его занятости — мудрено выполнить государственный заказ, а папа, как

я об этом сразу догадался, намерен его еще и перевыполнить.

Порядок сбора определился сам собой: возвращаясь из аулов Приншимья, мы по пути час-другой собираем в тугае и в низине шиповник, боярку, конский щавель, крапиву, хмель, подорожник. Бывая же в аулах верховья, мы собираем в тамошних лесах и полях ромашку, полынь, череду, татарник и выкапываем солодковый корень. Дома все это сортируется, высушивается, взвешивается, раскладывается по мешочкам и пакетам. Все запахи лесных и пойменных трав смешались в нашем доме.

Папа запикивает в мешок крапиву и хмель, косится на корзину, в которую я собираю шиповник, и смотрит вверх, определяя по солнцу время.

— Пожалуй, пора кончать,— говорит он.— А то не успею...

Пора так пора. Черемухи и смородины я объелся, во рту и в горле липко, вязко, язык точно распух и покрылся густым налетом, хоть ножом соскабливай, руки исцарапаны колючками шиповника, изъедены мошкой и комарами, запах трав дурманит, кружит голову.

— Да,— соглашаюсь я поспешно, пока папа не передумал.— Пора...

Закинув мешок на плечо и держа в другой руке корзину, папа пробивается сквозь заросли, умудряясь каким-то образом отводить ветки и притаптывать валежник, чтобы я ненароком не напоролся на острые сучья. Осторожно спускаемся мы по крутому обрыву к старице, заросшей по краям осокой, кувшинками, лилиями. Здесь еще утром папа поставил несколько жерлиц. На одной из них беснуется щуренок. Папа ловко снимает его с крючка, нанизывает на кукан и, привязав его конец к талу, вновь отпускает в воду. Улов он заберет вечером на обратном пути. Пока я в сторонке смываю липкую паутинную грязь с рук и лица, папа меняет на жерлицах

услувших живцов-чебачков и с тревогой поглядывает на солнце.

— Скорей, Гаррик...

Вновь взбираемся на обрыв, выходим на развилок рядом со старицей, быстро оглядываемся. Теперь нужно мешок и корзину спрятать в кусты и решить: то ли я пойду с папой в соседний аул, то ли отсюда — за три километра — один отправлюсь домой. Пока мы раздумываем, из-за тугая — к большому нашему облегчению — неслышно выезжает на своих быках Тайшик. Видно, он неподалеку, возле Ишима, косит сено. Быки, увидев нас, останавливаются. Они, дьяволы, словно знают, что при встрече в пути людям необходимо расспросить про здоровье всех знакомых и родных, о новостях в ауле, благополучии скота. Лишь разузнав все это, путники степенно разъезжаются. Папа, однако, спешит. Ему нет дела до извечных ритуалов. Тайшик угрюмо ждет, пока папа закидывает на арбу мешок и корзину, а я устраиваюсь рядом на свежем сене. Явно недовольные такой короткой передышкой, быки нехотя трогаются с места. По пустынной дороге в Коктерек торопливо шагает папа с аптечкой-чемоданчиком в руке...

Наша колымага спускается в овраг, сплошь заросший жимолостью. Здесь, рассказывают, издревле обитает всякая нечисть — джины и дивы-оборотни. Днем они молчат, прятаясь в сумрачных кустах и береговых курганах-развалинах, а ночью устраивают дикие оргии в сае, бегают наперегонки и воют, стонут, ухают на все лады. Однажды поздним вечером, когда мы с Салимом поили председателя жеребца у колодца возле кладбища, я сам слышал, как перекликались утробными, зловещими голосами джины. Мне страшно представить, как в густых сумерках или даже темной ночью, возвращаясь из Коктерека, папа один пройдет по оврагу.

«Бисмилля» — шепчет Тайшик перед подъемом по склону. Из оврага мы выбираемся благополучно, и я

оглядываюсь назад, надеясь увидеть еще раз папу, но его уже нет; черным волосяным арканом вьется котек-рекская дорога вдоль тугая. Справа до самого горизонта безбрежным морем колышется кызыл.

Тайшик вприщур разглядывает меня.

— И-и-и, алла... на кого ты похож? Нос да глаза... С утра, что ли, травы собираете?

— С утра...

— Твой коке и сам не спит и тебе спать не дает.

— Сейчас самый сезон,— серьезно, словами папы отвечаю я.— Надо выполнить государственный заказ.

— Не дейды?!— удивляется Тайшик.— Что он говорит? Сезон... заказ... Что это?

Я молчу. Я не могу объяснить Тайшику ни по-русски, ни по-казахски, что такое сезон и заказ. Тайшик что-то бормочет, качает головой и смотрит вдаль.

Отсюда наш аул виден, как на ладони. Косебокне домишки с шошалами —точно асыки, разбросанные неумелой рукой на зеленой кошме. Строи́ли, видно, кому, как и где заблагорассудится, не думая об улице, не заботясь о планировке, не испрашивая позволения аульной власти. Мало разве божьей земли! Мне нравится и этот простор, и эта кажущаяся беспорядочность, которые маме вовсе не по душе, потому что она считает, что дома должны быть аккуратные, беленькие, с ухоженным палисадником и стоять ровно по одной линии, на одинаковом расстоянии друг от друга, и порой мне чудится, что я живу в этом ауле уже давным-давно, чуть ли не всегда, что он совсем-совсем не чужой, а мой аул, и мне становится немножко досадно и неловко, когда мама с тоской рассказывает о родном крае, о родной деревне. Какой он, родной край? И какая она, родная деревня?..

— И-и, алла...— вздыхает Тайшик.

Он уже не поет, как в прошлом году, свою нескончаемую песню «буль-буль-буль». Он чаще молчит или бормочет что-то длинное и таинственное, похожее на мо-

литву. У Тайшика горе: недавно умер Кабдеш. Ни весиный кумыс, ни свежий степной воздух, ни рыбый жир, который папа с трудом достал в районной аптеке, уже не могли помочь Кабдешу. Братья Омар и Коспан вырыли могилку на краю кладбища, дедушка Салима, аульный мулла, прочитал коран, и теперь лежит Кабдеш под маленьким бугорком, придавленным камнем-стояком с какими-то непонятными арабскими закорючками, и слушает, наверное, по ночам, как в соседнем овраге беснуются джины и дивы.

У болота близ аула Тайшик сворачивает на молочарню.

— Кумыс пить,— объясняет он мне коротко.

Ферма — невзрачная прокопченная юрешка и небольшой загон для телят и жеребят-сосунков — расположена на открытом лугу рядом со старшей. Вокруг пасутся коровы, кобылицы, резвится молодняк. На коновязи дремлет, отмахиваясь от мошки, кургузая лошадевка под седлом. Возле юрты валяются бидоны, кадки, кожаные подоинки, казаны. Чернеют обуглившись, завалившиеся по краям земляные печки — жерошаки. Полог юрты открыт, оттуда доносятся звон посуды и неразборчивая речь. Тетка в длинном, до пят, цветастом платье на миг высовывается из юрты.

— Айда, айда,— настаивает Тайшик, заметив мою робость.

Внутри неказистой юрешки довольно просторно. Кислый запах перебродившего кумыса бьет в ноздри.

— Оу, Кари! Кел, кел! — раздается в углу.

Ватага мальчишек, усевшись полукругом, увлеченно ест что-то из казанчика посередине. Заводила — Ойрат локтем подталкивает соседа — голопузого мальчонку, по уши измазанного чем-то жирным, коричневым, горелым, — освобождая для меня место рядом. На дне казанчика темнеет густая жидкость, в которую макают и, жму-

рясь от удовольствия, облизывают кто палочку, кто щепку, кто палец.

— Вовремя пришел. Хвалишь, значит, нас. Давай лончай,— приглашает Ойрат.

— А что... это?

— Торты.

— Торты?!

Такого кушанья я никогда не ел, не видал и даже не представляю, как оно называется по-русски или по-немецки.

Я нахожу на полу трубочкой свернувшуюся бересту и, слегка развернув ее, начинаю, точно совком, черпать из казанчика торты. Малыши обескураженно переглядываются и начинают еще усерднее макать пальцы и палочки.

Оказывается, тортой здесь называют осадок топленого масла, вытоп. Поначалу кажется очень вкусно, но без хлеба много не съешь. И все же, ревниво косясь друг на друга, мы мигом выскребли, вылизали казанчик дочиста. Что ни говори, а вытоп — нечастое лакомство для аульных мальчишек.

В ауле свои события. Это ураза — пост правоверных, сундет — обряд обрезания, ас — поминки. По каждому такому случаю проводится неперемнная трапеза, как говорится, «окровавливается нож», то есть, попросту режут какую-нибудь скотину, ну, хотя бы паршивого козленка.

И тогда сладко булькает в казане, и дразнящий запах плывет-клубится окрест, и со всех дворов сбегается детвора в предвкушении пира — кусочка печени или полного половника дымом пахнущей сорпы — бульона. Но это лишь начало той, приятное и нетерпеливое ожидание главного. А главное потом, когда почтенные аксакалы и уважаемые люди аула рассядутся вокруг дастархана, посередине которого, на большом деревянном подносе — табакe, исходит паром гора душистого мяса, залитого

острым тузлуком¹, когда со словами «бисмилля»—«Во имя аллаха!» начнется сама трапеза и вместе с ней одаривание взрослыми аульной малышни.

— Бери, бери, милый, не стесняйся!

— На, айналайн! Вырасти большим джигитом!

— А ты-то, сары-бала, чей будешь? А-а... сын першыла, говоришь. Кари, говоришь... Э, жаксы, жаксы. Бери, дорогой, ешь, ешь, мой хороший.

Вытоп масла на колхозной ферме пусть небольшой, а все желанный праздник для аульной детворы. Для бедняка, говорят, один раз досыта наестся — половина богатства.

От молочарни до аула один катцешпрунг, как говорит мама, всего лишь кошачий прыжок, но для быков Тайшика и это расстояние — путь немалый. Плетутся, посапывают, хвостом-метелкой себя лениво нахлестывают, пучеглазо косятся на прут в руке возницы. Всю дорогу Ойрат и Мырзаш громко рыгают, хвастаясь друг перед другом сытостью. А мне нехорошо, поташнивает, крутит в животе, першит в горле. Запах прогорклого вытопа точно обволакивает меня, и перед глазами неотступно стоит черный, весь в копоти, казан.

У лесочка Ойрат и Мырзаш сигают с арбы, скрываются в лощине и вскоре выныривают оттуда с пучками дикого щавеля. Мы с удовольствием жуем приятно кислые листочки, и тошнота отпускает.

Возле кузницы Мырзаш прощается с нами, а мы с Ойратом, приехав к нашему дому, затаскиваем мешок и корзину в сенцы.

— Смотри, смотри! — шепчет Ойрат.

Из шожалы бабушки Кульшары выходит Шаймурат. Мы застыли в изумлении: одет он чисто, опрятно, словно собрался за невестой. Лицо строгое, серьезное, неуловимо-необычное. Губы плотно сжаты. Над ними грозно

¹ Бульон с луком (каз.).

навис длинный с горбинкой нос. В больших, на каблуках, сапогах Шаймурат кажется еще выше. Нас он тоже сразу замечает и поманивает пальцем.

— Уай, джигиты, новость-то слышали?— спрашивает он, когда мы с готовностью подсакиваем к нему.

Польщенные таким обращением, мы в унисон шмыгнем носами.

— Не-ет..

— Уй, дочерей ваших!.. С неба, что ли, свалились?!

Мы виновато опускаем головы. Что же такое могло случиться, о чем даже всезнайка-Ойрат, шабарман-Ойрат, проныра-Ойрат не в силах догадаться?

— Э, ладно,— милостиво машет рукой Шаймурат.— Объявляю вас моими нукерами. Поняли? Ваш ага... это я, значит,— считает он нужным мне объяснить,— ваш ага едет на фронт! До-бро-воль-но! Не вернусь батыром — плюньте мне в рожу! Видите, обхожу дома, прощаюсь со стариками. Вы будете меня сопровождать. Не пристало мне, как бродяге-дервишу, в одиночестве по дворам слоняться.

И мы услужливо киваем. И идем по аулу. Из дома в дом. От очага к очагу. Как велит обычай. Гордый и торжественный вышагивает впереди Шаймурат, будущий славный батыр, а по обе стороны — не менее важные — семенем мы, его избранныки-нукеры.

— Ай, сарбазы! Ай, мои надежные крылья!— похваливает нас Шаймурат.

Оказывается, пока мы на ферме пообедали тортой, новость успела облететь весь аул. В каждом доме нас встречают как дорогих, долгожданных гостей, а забияку Шаймурата, которого еще вчера иная хозяйка и к порогу не подпускала, сегодня усаживают на почетное место и ведут с ним учтивые речи. Едва мы садимся, чинно по-добрав ноги под себя, как перед нами скатертью-самобранкой появляется дастархан с привычными аульными яствами. Шаймурат ест сдержанно, вежливо, вырази-

гельно подмигивает нам, чтобы мы не терялись, отведали всего, что на дастархане, а кое-что между делом и записывали в карманы и за пазуху, а сам при этом начинает степенно, то ли наигранно, то ли всерьез волнуясь, с долгими паузами — такая речь, должно быть, по душе старикам — очень туманно для меня говорить о том, что судьбой уготовано джигиту тяжкое испытание, которое он, Шаймурат, с благословения почтенных старцев и всех аулчан постарается пройти с честью. В каждом доме он говорит почти одно и то же и все больше витиевато, с большей дрожью в голосе, все многословней, все складней, и старики, слушая его проникновенную речь, суровеют лицами и в знак одобрения теребят-пощипывают бородки, а женщины вытирают краешком жаулыка слезы. Шаймурат — шешен-златоуст. Он, говорят, умеет из слов источать жир. Каким образом у него это получается, я не знаю. Но сейчас я начинаю этому верить. К тому же Шаймурат — акын. В областной газете недавно напечатали его стихотворение «Вой, фашист, в своей могиле!» Даже выпускное сочинение Шаймурат написал стихами.

Глаза Шаймурата горят, тонкие ноздри раздуваются, жилка на длинной шее набухает. Чем-то он похож сейчас на молодого, нескладного беркута с большими когтями и клювом. Таких беркутов — я сам видел — обучает охотник Абильмажин. Шаймурату, наверное, самому доставляет удовольствие собственное красноречие.

Угощение кончается благословением хозяина дома.

— Э-э... айналайн... Не урони чести старого отца своего, Мукана! Восслав своими деяниями свой аул и народ свой! Да будет путь твой светлый и удачливый! Возвращайся с победой да живой-здоровый. Аминь...

При этих словах мы с Ойратом перестаем жевать, благоговейно замираем, держа перед лицом сложенные ладошки, и, услышав заключительное «А-ауминь...», проводим кончиками пальцев по щекам.

— Алла-акбарр...

И это повторяется в каждом доме, и мы чувствуем всю значительность этих проводов, и маленькие сердца наши, обласканные всем аулом, переполненные добрыми напутствиями и благословениями, бьются учащенно и радостно. Мы гордимся Шаймуратом, а он довольно похваливает нас:

— О, мои верные нукеры! Мои могучие крылья!

Обход завершается вечером. Будущий батыр Красной Армии заметно охрип. Верные его нукеры, то есть, Ойрат и я, от усталости и небывалого обжорства тоже еле волочат ноги. Однако провожаем его до дома. Мать Шаймурата, придерживая рукой поясицу, хлопчет возле самовара. Мукан-ата понуро сидит на стеганом лоскутном одеяле и перебирает четки.

— Коке! Пришел я со своими нукерами,— сообщает Шаймурат.— Всех обошел, со всеми простился.

— Барексельде¹,— отзывается сапожник.— Пригласи своих нукеров чай пить.

— Не нужен им чай, коке! Они и так вот-вот лопнут. Раздам им свое богатство и отправлю домой.

Шаймурат ведет нас в шошалу, долго копается за огромной деревянной абдрой-ларем, выгребает кучу раскрашенных асыков. Разделив их между нукерами поровну, он достает облепленный паутиной деревянный меч с красиво выточенным эфесом и передает его Ойрату.

— Сбереги, пока вернусь.

— Ия!— хлопает от восторга Ойрат.— Сберегу!

Представляю, как заблестят глаза у мальчишек при виде такого сокровища!..

— А с фронта привезу тебе настоящий канжар. Серебряный!

— А мне?— не в силах скрыть зависть, малодушно спрашиваю я.

¹ Возглас одобрения (каз.).

— Тебе... тебе привезу губную гармонику. Большую — во! Будешь на моей свадьбе играть «Камажай».

— Какая свадьба?

— Уй, дурачок!.. Я что, по-твоему, один с фронта приеду? Да я же себе немку-красотку отхвачу. На зависть всем аульным девкам. Из Берлина! Такую, понимаешь, с тонкой талней, гибкой, как тал, белую-белую, как очищенное просо, с голубыми глазами, с мягкой, как пух, шей. И будет у меня... как это... фрау, у тебя — дженге, и мы с тобой породнимся, и будем шпрехать по-немецки — ойдойт!..

Мы восхищенно умолкаем. Что там говорить, хват-Шаймурат на все горазд. Такой отчаянный джигит хоть какую голубоглазую мигом окрутит. Разве девчонки устоят перед батыром, который умеет из слов источать жар?!

— А пока, грамотей, получай вот это

Шаймурат подает мне потрепанную, заляпанную книжку. Я открываю страницу и с изумлением и радостью читаю первую строчку: «Анна und Martha baden». Видно, потому-то и врезалась в память Шаймурата эта фраза, что стоит первой в учебнике.

Мы выходим из шшалы, и Шаймурат, потягиваясь, говорит напоследок:

— Оставайтесь живыми-здоровыми, нукеры. Завтра еще в постели дрыхать будете, сны приятные досматривать, а я уже буду в пути. Помните меня!

— Ладно,— говорим мы и опрометью мчимся домой.

...Асыки, доставшиеся нам в наследство от Шаймурата, мы вскоре растеряли во время бесчисленных игр, а деревянный меч и учебник немецкого языка с запомнившейся первой фразой хранили еще долго.

От Шаймурата приходили письма в стихах. Их читали по многу раз. Переписывали. Наизусть заучивали. Поговаривали, что у Шаймурата на груди не один «ордын», и мы, мальчишки, не сомневались, что он, на-

Молодой батыр, ворвется скоро в Берлин на быстроногом скакуне и заставит злодеев-фашистов выть в собственном логове.

Домой Шаймурат не вернулся.

Осиротел очаг старого сапожника Мукана.

И не суждено мне было на свадьбе Шаймурата сыграть на трофейной губной гармонике шаловливую, задорную «Камажай».

А помнись — помнись!..

XII

Дурманит голову жухлая картофельная ботва. Прелый земляной дух вьется над грядками. Плывут в прозрачном воздухе невесомые серебряные нити.

— Бабье лето, — говорит папа, встряхивая на лопате клубни, чтобы отстали от них плотные комья чернозема.

— Альтвайберзоммер, — подтверждает Симон-шал.

Он охотно говорит по-немецки, но у него особый выговор. Знакомые слова звучат чуждо, по-книжному. Вначале мне чудилось, что Симон-шал только учится говорить по-немецки, оказалось, он говорит так, как надо, очень грамотно, правильно, одним словом, Hochdeutsch, а мы — на волжском диалекте. Выходит, даже на одном и том же языке можно изъясняться по-разному.

Объявился Симон-шал в ауле неожиданно. Откуда он приехал и почему облюбовал именно наши края — никто не знает. Поселился он в крохотной комнатке при интернате. Прибежали мы с Ойратом как-то к интернатцам, а там, в коридоре, в окружении взрослых ребят, сидит незнакомый, рослый бородач и, слегка картавя, читает им что-то из толстенной пожелтевшей книги.

— Кто это?

— Симон-шал.

— Что за Симон-шал?

— Обыкновенный. Не видишь разве?

— Откуда он?

— Шайтан знает...

Ни длинной фамилии, ни вычурного отчества его никто не запомнил, а потому стали звать пришельца по имени, добавив к нему из уважения к густой бороде, обрамлявшей горбоносое худощавое лицо, почтительное слово «шал». Так и пошло: Симон-шал — Симон-старик.

Работал он сторожем в интернате и истопником в школе. Оказался Симон-шал с причудами. Вставал чуть свет и, как маленький, бегал вокруг столовой и махал руками. Зимой обтирался снегом и ходил без шапки. Осенью принялся сажать черемуху под окнами школы, будто мало ему было берез вокруг аула. Топор и пилу держал неумело, лошадь запрягал — ребята со смеху укатывались, к интернатскому быку и подходить боялся. И все же было в нем, в этом странном человеке, что-то притягательное, неуловимо-особенное, и все, что бы он ни делал, ни говорил, казалось любопытным, интересным.

В ауле сказывали: у него добрые глаза, приветливое лицо, значиг — хороший человек.

К нам Симон-шал заживал часто, бубнил что-то на чопорно-туманном Hochdeutsch, почесывал бороду, щурился, и мама почтительно слушала и восторгалась образованностью необычного гостя.

Папа ловко и прямо ставит лопату, стараясь не порезать ни одного клубня; мы с мамой собираем картошку, а Симон-шал ходит по убранному огороду, тычет туда-сюда вилами и складывает увядшую, потемневшую ботву в кучу.

Я слышу трель звонка и с грустью смотрю на школьную площадь, залитую солнцем.

— Что, Гарри, завидно? — спрашивает Симон-шал.

— Ничего, — отвечает за меня папа. — Этот год еще дома посидим. Самостоятельно заниматься будем.

— В том даже есть преимущество. Если нужно, и я к вашим услугам.

Все только утешают. «Преимущество». «К услугам». А в школе все равно интереснее...

— Годик позанимаемся,— продолжает папа,— казахский подучим, и можно будет сразу во второй класс. Так договорились с директором.

— Через год, может, еще все переменится,— предполагает мама.

Симон-шал и папа переглядываются и молчат...

Вдруг папа начинает настороженно оглядываться и потягивать носом.

— Где-то горит...

Погожий осенний день. Тихо в ауле. Ни ветерка. Видно, папе просто померещилось. Но через минуту он решительно вонзает лопату в лунку и поднимается на крышу дома. Долго смотрит окрест, прислонив ладонь ко лбу.

— Степь горит!— и показывает рукой в сторону колхозного стана за лесом.

— Чем это грозит?— интересуется Симон-шал.

— Да пшеничное поле ведь рядом!

Папа бежит в контору, Симон-шал — в школу, я — по домам.

Степь горит! Пожар! Пожар идет с верховья!

Всколыхнулся тихий аул. Председатель колхоза и группа всадников галопом помчались к косогору. За ними гурьбой побежали ученики. Вслед засемили старики, засуетились старухи.

За косогором, за лощиной, курчавясь, низко стлался дым. Неподалеку во всю ширь накатывался невидимый степной пал, треск и гул становились все явственней, и аулчане спешили навстречу неумолимо надвигающейся беде.

Председатель уже мчался назад.

— Чем тушить-то будете?! Голыми руками?

- Ветки, ветки ломайте — пламя сбивать...
- Шкурки, кошму тащите!
- Лопаты давай!..

Одни кинулись в колок ломать ветки, другие без толку шарахались взад-вперед, третьи без оглядки бежали назад, в аул.

Пожар с нарастающим гулом стремительно приближался; бледные язычки пламени затаились в траве, жадно, торопливо облизывали землю, подкрадывались к сухим, тускло серебрящимся стебелькам ковыля, мгновенно обугливали его, рассыпаясь искорками и оставляя за собой неприглядное, в черно-бурых пятнах поле. Позади, почти до самого горизонта, что-то еще догорало, тлело, чадило, вспыхивало и вновь угасало, а впереди широко, точно Ишим в половодье, растекалось, шипя и потрескивая, пламя, огненными щупальцами подбиралось к кустам перекасти-поля, к кураю, к жимолости, густо разросшимся вокруг старого, полузабытого кладбища на бугре, а там, за бугром, тянулась узкая, ковылем поросшая полоска, потом — дорога на стан, а прямо от дороги — начиналось колхозное пшеничное поле, где сонно, истомленно шептались, созревая на солнце, уже забуревшие, уже встопорщившие усики колосья.

Папа, Симон-шал и несколько взрослых ребят, пообломав по молодой березке, с криком подбежали к огненной кромке степи и начали яростно хлестать землю, сбивая пламя.

— В ряд становитесь! Все, все! Живо! Бей, бей! Не подпускай! — надрывался председатель.

И пламя, не ожидавшее такого отпора, дрогнуло, заметалось у ног людей, трусливо кинулось назад, обволакиваясь черным дымом.

— Давай, давай! Наступа-ай! Туши-и-и!

Никто уже не стоял в стороне: и старики, и дети, встав плечом к плечу, били и топтали пламя, радуясь,

что оно отступает, и преследуя его. Казалось, уже миновала опасность, но тут вскинулся женский вопль:

— Ойбай! Вон, вон!!

Дрогнула людская цепь, отшатнулась, и все увидели, ликующе взметнувшийся столб огня на краю кладбища. Видно, какая-то искорка все же переметнулась через головы людей или прошмыгнула воровски меж чьих-то ног, скользнула в заросли, в низкие посохшие кусты перекати-поля и курая, и они вспыхнули, взорвались, будто порох.

В мгновение ока с шумом взвилось пламя, разом охватило все кладбище на бугре, и разбушевался огонь, осатанел, плюясь во все стороны жгучими искрами.

— Уа-а-а-ай!— прокатилось по косогору.

Толпа отпрянула, откатилась — подальше, подальше, подальше от огненного смерча, от неступленного языкастого пламени, уже подбиравшегося в поиске свежей поживы к ковыльной непаханной полосе у самой дороги, и казалось, никакая сила не может противостоять огню — и вдруг пронзительный голос Абиkey:

— Наза-а-ад!

Однорукий военрук рванул с себя гимнастерку и начал хлестать ею пламя. Интернатовцы тотчас кинулись к своему воспитателю и с новой силой обрушились на огонь. Папа с Симоном-шалом, зайдя с тыла и рискуя опалить ноги, влад с размаху стегали ветвистой березкой дымящуюся землю.

— Давай! Еще! Бей!— подбадривали друг друга люди.

Между тем огонь, истребив дотла все, что могло гореть на бугре, и еще не насытив своей страсти, угрожающе нацелился на желтевшее в нескольких шагах пшеничное поле. И стало ясно, что здесь, на этой узкой полосе, во что бы то ни стало нужно укротить огненную стихию.

Пламя будто затаилось, отползало, лизало обуглив-

шуюся землю, медленно умирало и вновь оживало, силясь в рывке перекинуться на пшеницу через дорогу. Но люди стояли стеной у истребленной палом межи — мужчины, женщины, старики, подростки, дети, все, кого только держали ноги, и били злую силу, посягнувшую на их добро, на их жизнь, и зорко стерегли каждую коварную искорку.

— Смотрите! Смотрите!

Со стороны кузницы скакали на помощь братья Омар и Коспан. На краю межи, где нехотя угасал степной пал, они разсъхались, и все увидели между ними тяжелую, намоченную кошму, растянутую на длинном аркане. Волоча ее по огненной полосе, братья проехали взад-вперед несколько раз по полю, и пламя, плотно накрытое толстой, мокрой кошмой, смирилось, задышалось.

— Ай да братья!

— Молодцы! Вспомнили старый дедовский способ!

— Давай! Еще! Все поле прогладь кошмой!

Обрадованные нежданно подоспевшей помощью, люди встрепенулись, смело пошли по испепеленному полю, сшибая, прибивая ветками и затапывая сапогами уже бессильные, то здесь, то там едва вспыхивающие язычки пламени. Степь еще чуть дымилась, и проснувшийся ветерок гнал по ней невесомый, жалкий прах ковыля, и солнце, склонившееся к закату, подернулось белесой пленкой, словно стыдясь смотреть на поруганную подругу — обезображенную свирепым разбойником-палом степь.

Председатель объезжал спасенное пшеничное поле, озираясь вокруг, высматривая, не подбирается ли откуда еще какая-нибудь напасть.

— Эй, ребятки, посмотрите, не горит ли еще где? Внимательно смотрите!

Люди, взбудораженные, разгоряченные, чумазые, теперь оживленно обсуждали происшедшее, как бы выплевывая остатки недавнего страха.

— Слава всевышнему, ветра не было. Не то — пропали бы.

— Не говори! От аула ничего бы не осталось.

— Самое главное — пшеницу спасли...

— Ия... Какая только собака могла поджечь степь?

— Может, невзначай кто...

— Может, невзначай, а может, и нарочно.

— Брось! У кого рука подымеется?!..

— Товарищи! — кричал папа. — Ожогов нет? Кому нужна помощь?

— Вон у Зайры-молодки подол прожженный.

— Еще неизвестно, кто его прожег. Ха-ха!..

— Ойпырмай, если бы не Абиkey, быть беде.

— Не зря командир. Прямо в огонь бросился.

— А братья-то, Омар и Коспан! Как додумались!

— Оу, баскарма! Хватит тебе взад-вперед мотаться.

Лучше прикажи на радостях зарезать хотя бы козленка! А то люди небось и вкус мяса позабыли.

Председатель натянул поводья, ладонью вытер лицо.

— Спасибо, люди! Спасли добро и честь колхоза, А козленка зарежем.

— Э, барекельде! Приятные слова и слушать приятно...

Шли с косогора. Шли довольные, радостные. И не умолкали разговоры.

— А кто же первый про пожар-то узнал?

— Кто! Да Кертр!!! Он, першыл наш, с сыном весь аул взбудоражил.

— Надо же! Не зря, видать, нос у него что добрая скалка. Учужал, унюхал!

— Да, храбрец! Не растерялся...

Солнце склонилось над Ишимом, приближался вечер, и люди спешили в аул, к своим повседневному житейским заботам.

Я шел рядом с папой и Симоном-шалом и вдруг заметил, что в толпе бегущих впереди мальчишек нет Ойра-

та. Там, на косогоре, мы были вместе и хлестали ветками пламя у ног, а потом, в суматохе, когда огонь набросился на заросли возле кладбища, я потерял его из виду. А вдруг... Такой жуткий страх захлестнул меня, что я едва пролепетал. «Сейчас... сейчас...» и кинулся назад, туда, где посреди опаленного, истерзанного поля темнело старое, заброшенное кладбище на песчаном бугре.

— Ойрат! Ой-ра-ат!— кричал я сдавленным, неслышным голосом.

Зловещей тишиной была скована обугленная степь. Багровый отблеск мерцал на безмолвно застывших камнях-стояках, стороживших покой предков аулчан. В стороне над ольхой, у лошины, кружилась, каркая, одинокая ворона. Я стоял у склона, охваченный оторопью, не в силах кричать.

На бугре застрекотала, заверещала вдруг сорока, и, догадавшись, что ее что-то вспугнуло, встревожило, и преодолевая страх, я ринулся вверх по склону и сразу увидел Ойрата, сидевшего на корточках на краю чьей-то могилы. Он плакал, вздрагивая плечами, и что-то шептал. Я тихо позвал его:

— Ойрат... Слышишь, Ойрат... Что ты здесь делаешь?

Он не ответил, только посмотрел на меня и потер кулаком глаза. Я подошел к нему.

— Айда домой... Видишь: все ушли.

— Знаешь... что?— Ойрат не мог унять дрожь.— Здесь лежит мой ата, мой дедушка. И... и прадедушка. И...

— Кто сказал?

— Апа моя сказала. Я знаю... всех своих дедов до седьмого колена знаю... Когда мой коке погиб, душа его... сюда... вот сюда прилетела...

— Как?!.. Кто сказал?

— Апа моя сказала. И вот сегодня... сегодня... ты видел... все сгорели...

Я молчал, стараясь представить предков Ойрата, покоившихся под этим бугром, и душу неведомого мне воина Жуматая, прилетевшую из-под Москвы в родные края, чтобы сгореть в один несчастный день в степном пожаре.

— Ты знаешь проклятие?— таинственно спросил Ойрат.

— Не-ет...

— Видишь: солнце заходит. Проклятие, если трижды прошептать его перед закатом, имеет страшную силу.

— Кто сказал?

— Апа моя сказала... Повторяй за мной: «Чтоб ты корчился в могиле, фашист-злодей!.. Чтоб ты сгорел в огне, и ветер развеял твой прах поганый!..»

Мы с Ойратом встали рядом с потемневшим от времени, вросшим в землю надмогильным камнем и, повернувшись лицом к заходящему солнцу, трижды прошептали проклятие.

XIII

«Говорят, мой друг,
не довелось нам пороху пошохать...»
(Арно Прахт)

Белая морозная муть плотно укутала аул. Продуваемую всеми ветрами школу на пустыре завяло поземкой. Окна обросли наледью, ослепли. По углам пустых и оттого непомерно больших классов — сизая изморозь. Сумрак, стынь.

— Пока ты, Карн, достигнешь глубин науки, длинный нос свой отморозишь. Клянусь!

Темеш бухает сапожищами, отделанными изнутри войлоком, шуршит заскоружлым овчинным кожушком, подпоясанным сыромятным ремнем, щупает чуть-чуть теплую печь-голландку.

Я дышу в варежки и тру ими нос. Темешу, конечно, опасаться нечего: на плоском, мясистом, с оспинками лице нос его кажется незаметным бугорком на широкой равнине.

Пока я добирался до школы, одолевая сугроб за сугробом и бочком-бочком пробивая упругость низового колючего ветра, я вроде малость согрелся, но едва войдя в класс, мгновенно продрог до костей.

— Ойпырмай, закоченеем. Околсем,— ворчит Темеш, туже стягивая завязки старого треуха.— Хоть бы интернатовцы скорее пришли. Затеял бы потасовку, согрелся бы...

Но интернатовцы запаздывают. То ли не решаются покинуть до звонка теплые комнаты-спальни, то ли слоняются в столовой в ожидании, когда повариха разогреет кашу из концентратов.

Зимой аул просыпается поздно; даже собаки не брежут. А школа понемногу оживает, наполняется шорохами, хриплым, натужным кашлем, гулким говором; по длинному коридору в предрассветной сутемени снуют маячат призраки; уродливые тени тычутся по углам; с вязанкой промерзших чурок пробирается в учительскую Симон-шал.

Я, надсаживаясь, двигаю громадную черную доску ближе к партам. Три парты — два класса. Первая слева — второй класс, первая справа — четвертый. Половина третьей парты позади — второй класс; другая половина — четвертый. Просто и строго симметрично. Однако симметрия, к огорчению нашей учительницы, часто нарушается: из шести грамотеев один-другой почти всегда в отлучке.

Сквозь монотонный, докучливый вой ветра доносится топот, в коридор врывается ватага интернатовцев, хриплый фальцет однорукого Абиkey проклевывает стылую тишину, и тут же дзинькает, захлебываясь, медный школьный колокольчик в руках Симона-шала.

Неслышно входит в класс Рабига. Даже в длинном, толстом пальто, валенках и серой пуховой шали она кажется хрупкой и очень миловидной.

— Что... только двое?!

Рабига старается быть строгой, но это ей редко удается. Вот и сейчас она удивленно вскинула бровки и добродушно, по-детски улыбнулась. Голосок учительницы нежный, тихий. Из рта ее клубится прозрачное облачко пара.

— Да, мугалим, двое нас, не испугавшихся свирепого бурана,— ломким басом подтверждает Темеш.

Учительница присаживается на краешек стула, открывает журнал — довоенную конторскую книгу, достает из кармана ручку с пером «муравьиная талия». Темеш, ухмыляясь, услужливо ставит на стол фарфоровую, с красным ободком, чернильницу.

— Оу, что за чернила? Не пишут...

— Из сажи чернила. Может, застыли?..

Темеш начинает трясти непроливайку, а я спешно достаю из своей холщовой сумки пузырек с густо разведенной марганцовкой. Во всей школе только я пишу такими чернилами. Чернила из сажи больно мажут, да и портятся, «скисают» быстро. А марганцовкой писать хорошо, только буквы скоро блекнут и выцветают. Но это даже удобно: через неделю на том же клочке опять писать можно. Тетрадей ведь нет, и мы пишем на полях старых книг, разрезанных для удобства пополам.

Увы, и марганцовка в пузырьке успела превратиться в темно-багровое крошево.

— Ту-у...— огорчается Рабига.— Не могли догадаться в печку поставить.

Она берет кусок известки, подходит к доске, проводит посередине черту и пишет слева —«Қазақ тілі», справа — «Арифметика».

— Тяжелый случай,— вздыхает Темеш.

С арифметикой старейшина начальной школы упорно

не в ладах. За семь лет учебы он кое-как дотянул до четвертого класса, но при этом ничуть не унывает. Учится Темеш урывками, обычно с поздней осени до ранней весны, а в остальное время пасет аульный скот. Заветная его мечта — одолеть до женитьбы семь классов и стать секретарем аулсовета. И хотя на редких вечеринках долговязый Темеш и норовит подсесть поближе к черноглазым, тонкобровым молодкам, а те сами не прочь заигрывать с ним, до женитьбы, однако, еще не скоро, и потому не торопится будущий секретарь аульного совета вы зубрить до конца таблицу умножения. Второй год тщетно пытается Темеш покорить самый тернистый перевал на пути к желанной цели — проценты и десятичные дроби. Темеш мыслит крупно: одна скирда сена, одно стадо коров, один воз сухостоя. И я думаю, сам Очкастый Ганс, первый математик во всей окрестности, не в силах втолковать ему, что на свете, помимо целых чисел, бывают еще и половинки, и четвертинки и даже какие-то сотые доли.

Темеша в ауле любят за покладистость и услужливость. Кто починит плетень? Темеш. Кто нарубит вязанку сухого тала или ловко растуганит самовар? Темеш. Кто на тоях обслужит почтенных старцев? Темеш. Кто поведет мальцов за диким луком? Кто возглавит поход за колосьями на поле? Кто изловит строптивного коня-неука? Темеш, Темеш, Темеш.

Но этим не исчерпываются достоинства Темеша. Там, где нужно петь, голос его звучит громче всех. В степи, на воле, постоянно покрикивая на безответных коров, он так развил свою глотку, что если гаркнет на одном конце аула, на другом — буренки прижимают уши и переходят на трусцу.

Темеш выразительно толкает меня в бок. Дескать, будь начеку, подскажи ответы. Так всегда: я решаю в уме примеры для Темеша, а он, вытянув длинные ноги, в это время пристально разглядывает учительницу.

Рабига лишь год назад окончила школу, и Темешу забавно называть ее почтительно «мугалим», а не просто по имени. Он смотрит на нее в упор, долго-долго, звучно щелкает языком, тайно радуясь ее смущению. Иногда, забывая, что я занят сложными вычислениями для него, он толкает меня в бок и восторженно шепчет: «Глянь, как у ней ресницы вздрагивают! А щеки, щеки-то горят! Ойпырмай, как блестят волосы! Жиром, что ли, смазала?..» Мне неловко от этих слов, и я стараюсь не смотреть на учительницу, но, бывает, Рабига, заметив мое смущение, сама вдруг вспыхивает, хмурит брови и обрушивает свой робкий гнев на Темеша.

- Тажибаев, выходи из класса!
- Почему, мугалим?
- Выходи из класса, говорю!
- В чем я провинился, мугалим?
- Я сказала: выходи!
- Больше не буду, мугалим...

Мы замираем от страха. У Рабиги блестят глаза, прыгают губы. Того и гляди — расплачется. И тогда Темеш, неуклюжий, длинный, великодушно встает из-за парты и, всем своим видом выказывая недоумение, плетется к двери...

У меня с арифметикой все тип-топ. Не пугают и десятичные дроби. Что для меня школьные примеры и задачки, если я полтора года изо дня в день занимался с папой по его конспектам, которые он писал на рабфаке и военно-фельдшерской школе?!

А вот на уроке казахского языка случаются разные казусы. Меня возмущает обилие гласных, я их зачастую путаю, и потому многие слова, значение которых я давно усвоил, звучат в моем произношении почти одинаково. Рабига терпеливо учит меня правильному выговору, крутит мой жесткий немецкий язык, приспособлявая его к восточному благозвучию и гортанности. Ей доставляет удовольствие учить бледнолицего, длинноносого мальчика,

старающегося до слез, и она искренне радуется каждому мсему успеху.

— Мугалим...— Темеш учтиво тянет руку.— Может, лучше почитаем?.. Или проведем урок пения? А то чернила застыли, и ребята еще не все пришли...

Рабига раздумывает. Верно: какое сейчас письмо? А горланить песни чуть свет в эдакую стужу!

— Ладно... Поставьте чернильницы в печку, с краешка, на золу.

Хотя мы и называемся параллельными классами, уроки наши часто и поневоле сливаются, и, бывает, не сразу дажеобразишь, кто из нас в каком классе сейчас занимается. Если второй класс хором декламирует стихи, четвертый охотно и громко вторит. Когда Рабига рассказывает про хана Жармака, завоевавшего Сибирь, или про чудеса в жарких странах, жадно слушаем все. Вообще, я заметил, что заниматься не тем, что положено, всегда интересней. Когда я поделился своим открытием с папой, он, улыбаясь, сказал, что, пожалуй, это так, но иногда нужно заставить себя делать то, что совсем не хочется в это время, и тогда вырастешь сильным и волевым. Может быть... Только это очень не просто.

— Значит, урок чтения. Слушайте внимательно. «Ақ киімді, денелі, ақ сақалды...»¹

Тонким, чистым голосом, нараспев читает Рабига, четко, втягивая произносит каждое слово, чтобы я вник в смысл абаевских стихов. Я слушаю напряженно и вижу, как тяжелой поступью, поскрипывая снегом, подкрадывается хмурый, белобородый, с головы до ног инеем покрытый, стужей дышащий старый Сват-Мороз, и невольно съеживаюсь, плотнее прижимаюсь к задубенелому кожушку моего великовозрастного соседа. Темеш шевелит губами, вслед за учительницей повторяя слова, а

¹ Строчка из стихотворения Абая «Зима». Буквально: «В белой одежде, крупнотелый, белобородый...»

мое внимание вдруг спотыкается на непонятном «алты канат ақ орда», и я силюсь представить эту загадочную белую «орду» с шестью крыльями и уже не могу сосредоточиться, и до слуха моего доходят только рифмующиеся слоги — «алды-малды-шалды». Рядом с «ордой» стоит «уй» — дом, но это еще больше сбивает меня с толку, потому что я никак не могу себе представить дом с шестью крыльями. Таких домов в нашем ауле нет. Я вспоминаю трехэтажный дом в Энгельсе, в летной школе, где еще до войны работал папа. Может, белый шестикрылый дом — «орда» — не что иное, как шестипэтажное здание?..

— Все поняли?

— Поняли, — неуверенно басит Темеш.

— Как Абай изображает зиму?

— Хорошо изображает.

— Как хорошо?

— Ну, очень хорошо... Правильно, значит. Он же великий акын. Умеет описывать.

Учительницу ответ Темеша почему-то не удовлетворяет, и она протягивает учебник мне.

— Читай, Гарри. Громко и выразительно.

Глотая слова, скрадывая опасные для меня гласные, невнятной скороговоркой проборматываю стихи, стремясь без запинки, на одном дыхании дойти, пробежать скорее до конца.

— Уай! С ходу на галоп сорвался, — восхищается Темеш.

Рабига улыбается.

— Не стрекочи...

Наконец, у меня получается, как надо, и Темеш вопит:

— Ай, маладес, Кари! Настоящий казах...

Стук в двери. На пороге вырастают запорошенные, в толстой, нелепой одежде Сальтай и Ойрат. Точно ожил рисунок из учебника географии — «Дети эскимосов».

Не хватает, пожалуй, только лохматых собачек в упряжке.

— Ия, что скажете, батыры? — насмешливо спрашивает Рабига.

Сальтай, переминаясь с ноги на ногу, развязывает тесемки лисьего малахая.

— Дом наш замело... дверь завалило... еле выбрался через крышу сарая... И пока дошел... —

— А ты?

Ойрат хлопает заиндезевшими ресницами, натужно кашляет.

— Проспал, наверно?

Ойрат чешет затылок, опускает голову.

— Ладно... Отряхнитесь у печки. Гарри, читай дальше. Жуматаев, слушай! Играть на перемене будешь.

На большой перемене все ученики собираются у простенка, где рядом со стеной газетой «Оку майданы», директор вывесил сегодня свою изрядно потрепанную, всю исчерченную красными, синими, черными линиями и стрелками карту. Старшеклассники подолгу разглядывают ее, спорят, что-то друг другу доказывают.

— Смотри: совсем уже близко до нашей границы. Один-два ели¹ осталось.

— Хэ, сказанул! Один-два ели! А попробуй — отвоюй!

— Небось, один твой ели — сотня километров будет.

— Глянь: впритык к Румынии подошли наши.

— А как прогоним фашистов, так и войне конец, да?

— Э, нет! В свое же логово их загоним! Так сказал лектор из района.

— Ойпырмай, тогда до Берлина еще далековато.

— Дойдем! Будь он хоть на краю земли.

— Тут написано, Асы, Акырман. Здесь что, казахи живут?

¹ Ширина одного пальца (каз.)

— Ой, дурень! Открой зенки пошире. Читай: Яссы... Аккерман.

— Э, все равно! И в Акырмане будет немцам акырмаман!¹

Столпились ученики у карты, измятой, истерзанной, словно по ней самой прокатилась эта нескончаемая война.

— Что ни говорите, ребята, а до победы уже недалеко. Помяните мое слово.

— Э, мед тебе в уста!

— Так да и будет!

Кто-то шутит:

— А что? Сбываются ведь не слова провидца, а бред глупца.

— Не болтай!

Что там видят взрослые ребята на этой карте, мне неизвестно. Я только знаю, что большой красный кружок посередине означает Москву, а черный кружок в левом углу — Берлин. К нему сверху и снизу нацелились, все более удлиняясь, острые красные стрелы. Когда они острем вонзятся в черный кружок — войне конец.

Мне нравится рисунок в нашей школьной газете. Огненная, крутогрудая пятерка, точно вздыбленный скакун, копьём пронзает долговязого, клыкастого фашиста. «Каждая пятерка — пуля в сердце врага», — написано внизу. Если каждая из них и впрямь пуля, то на моем счету должно быть немало поверженных врагов.

Школа лишь к полудню обретает жилой дух. От печей вьется угарный дымок, пахнет сырыми дровами, овчинными полушубками, войлоком, подтаявшим снегом. Наледь на окнах становится чуть влажной.

— Стройся-я! — доносится со стороны учительской сверлящий темя фальцет военрука Абкиея, заглушая последний звонок. Из всех классов с грохотом выбегают

¹ Конец света (каз.).

ученики, становятся в строй вдоль стенки, и когда под строгим взглядом Абиkey все затихает в ожидании важных сообщений, из своего кабинета — крохотной угловой комнатенки — выходит сам директор, в галифе, френче, сапогах, скошенным взглядом обегает шеренгу своих живописно разодетых воспитанников и, выдержав паузу, тихо говорит:

— Так вот, ребята... затянулись нынче холода. Почти месяц буранит. Но... ничто не должно быть помехой в учебе. У нас, ребята, тоже фронт. Фронт учебы. Быть дезертиром никто не имеет права. Надеюсь, все понимают, о чем я говорю...

Тихо в коридоре. В щелястую дверь воровски струится пар, подкрадывается к ногам, тянется к теплу. Ветер швыряет в окна пригоршни колючего снега. В сторонке стоят учителя — несколько женщин, три девушки, недавние выпускницы, да двое мужчин, Каляу и Абиkey, — смотрят на своих заметно поредевших за эту зиму — тяжкую, буранную зиму тысяча девятьсот сорок четвертого года — учеников, а они, ученики, не спускают глаз с директора, а директор, протирая затуманившиеся очки, продолжает:

— Аулу, ребята, нужна ваша помощь. Очень! Мы, ваши учителя и руководство колхоза, надеемся, что вы не станете возражать. Дело в общем-то привычное. Интернатовцы — старшие классы, конечно, — в день по два часа будут работать на колхозной ферме. Еще одна группа ребят должна помочь семьям красноармейцев, старикам, больным. Снег разгрести, дрова рубить, скот поить. Другая группа отправится помогать Симону Иезекиилевичу пилить дрова для школы. Сами видите — мерзнем.

Директор ходит взад-вперед вдоль строя, прислушивается к робким голосам:

— Конечно, чего там...

— Какой разговор..,

— Мы и так...

— И еще: чтобы никто, ни один смельчак не осмелился в такую погоду отправиться в аулы. Никуда! Заблудиться немудрено в двух шагах от дома. Это я говорю всем приезжим. Потерпите. Вечно зима длиться не может.

— Понятно!

— Кому охота сейчас в путь отправляться...

Выходит вперед Каляю.

— Какой праздник впереди, ребята?

— День Красной Армии! — откликается строй.

— Правильно! Участники художественной самодеятельности должны сегодня вечером собраться на репетицию.

Направляясь в учительскую, директор круто останавливается возле меня.

— Папа дома?

— Нет... в Алка-агаше.

— Приедет — напомним: у него сегодня лекция.

Я бегу домой. Не бегу — лечу, катаюсь, кувыркаюсь, подгоняемый свирепым ветром. Вверх — вниз; вниз — вверх; с сугроба на сугроб; со снежного вала на вал. Рядом вьется, змеится, обгоняя меня, поземка, и злой ветер улюлюкает, свищет. Замел, заваял снег аул, и даже там, где возвышались стройные березовые колки, торчат теперь жалкие, искривленные сучья из-под наста.

А позади, на пустыре, в плену причудливых сугробов, видна наша школа — живой очаг аула.

XIV

«Срок подоспел для радостных свершений»

(Рудольф Жакмьян)

И настал тот день!

Утром, к завтраку, вернулся папа с ночного дежурства в конторе, заметно взбудораженный, торжественный,

повел-подергал плечами, будто груз неимоверный сбрасывал, походил-покружился по комнате, потом взялся тормозить Эльму, шутя шелкнул твердым ногтем меня по темени, нетерпеливо-радостно взглядывал на маму. Откуда бы ни возвращался папа, он обожает, когда его встречают всей семьей, чтобы увивались все вокруг и подробно расспрашивали обо всем, что он видел и что вообще — пока его не было дома — произошло.

Мерно тикал будильник на камне, менее часа оставалось до урока, и жареная картошка уже дымилась в сковородке на столе, и мама уже разлила по кружкам жидкий ячменный кофе, а папа все ходил из угла в угол, потирал руки, загадочно и с явной укоризной косился на нас, и я, все более обуреваемый смутным волнением, наконец, не выдержал, спросил раньше мамы:

— Дежурство прошло хорошо?

Папа сразу просиял, вскинув кустистые белесые брови.

— Х-ха... «хорошо»! Не то слово, мальчик!

И опять искоса на маму устремил ликующий взгляд.

— Все, Аня!.. Победа!..

— Что-о? — не сразу поняла мама.

— Только что из района сообщили. Конец войне!

Мама присела на табурет, затеребила передник. Большие черные глаза вспыхнули.

— Боже милостивый, наконец-то...

Тикал бездушный будильник, уже отчитывал, не ведая о том, новое, мирное время, и стлы картошка в сковородке и кофе из поджаренного ячменя в алюминиевых кружках, а папа с мамой, точно онемев от великой радости, молчали, переглядывались, улыбались, и я, тоже еще не осознав вполне, что же такое произошло на свете, тихо, осторожно спросил:

— Что... совсем-совсем конец?.. Совсем победа?

— Совсем, совсем, Гарри! Бегн. Сегодня занятий не будет. Сегодня праздник!

Я мигом выскочил, схватив ломоть черного хлеба.

Аул был похож на тщедушного сироту-ягненка, свернувшегося на лужайке, подставив тощий бочок теплым утренним лучам. На выпасе за домами тонконогие телята щипали едва зазеленевшую мураву. Старик Абильмажин седлал гнедую, собираясь, должно быть, проверить капкан в овраге. Вдоль огорода семенил, накинув на плечи чапан, дедушка Сергали. Под предводительством Абиkeyа интернатовцы строем направлялись в столовую.

А далеко, в низине, таяли остатки утреннего тумана.

Во весь дух понесся я к Ойрату, добежал, рванул дверь.

— Эй, ты что, не знаешь? Война ведь кончилась!

— Как это?

— А вот так! Кончилась! И мы победили!

— Честно?

— Оллахи-беллахи!

Магрипа-апа, сидя на корточках, толкла в ступе пшено.

— Кто тебе сказал, жаным?

— Коке мой сказал. Он в конторе дежурил. Ему из района сообщили.

— Айналайн... Да сбудутся все твои желанья...— Апа вдруг выронила пест, начала концом жаулыка вытирать набегавшие без удержу слезы.— Дожили и до этого дня... Только... только твой коке, Ойратжан, не... не...

Она не договорила; всхлиывая, пошарила в закуске за плитой, вытащила мешочек, сунула нам в руки по горсти твердого, бурого курту.

— Вот вам, детки, суюнши. И бегите, обрадуйте всех. Да будет благословен этот день!

И побежали мы от дома к дому, размахивая руками, обгоняя друг друга, и, не жалея глоток, кричали:

— Ата! Война кончилась! Мы победили! Суюнши!

— Апа! Конец войне! Суюнши!

— Аже! Победа!!! Суюнши!!!

И аулчане плакали и ликовали, обнимали и ласкали нас, благословляли и одаривали, кто чем мог, и мы — счастливые гонцы, гордые вестники мира — ощущали себя причастными к чему-то непостижимо прекрасному и доброму.

К обеду весь аул — от дряхлых старцев до несмышленной малышни — собрался на зеленом лугу возле школы. Радужное слово «ПОБЕДА» уже успело обрасти подробностями, и каждый стремился придать ему еще какой-нибудь красочный оттенок.

— Ойпырмай, говорят, в пыль разнесли фашистов.

— На большую контору, в которой трусливый Китлер спрятался, красный флаг водрузили.

— Наш Шаймурат небось по улицам Берлина теперь гуляет.

— Под ручку с какой-нибудь голубоглазой...

— Еще говорят, один из их главарей на коране клятву давал: никогда, дескать, с орысами воевать не буду.

— Куда им?!..

— Стро-о-ойся-я!— надрывался Абиkey.

Неугомонный военрук, воспитатель интернатовцев, младший лейтенант Красной Армии, уже осенью сорок первого вернувшийся в аул без правой руки, в День Победы повел праздничную колонну по аулу.

— Дружней! Собранней! Четче!— командовал Абиkey, бегая вдоль колонны.— Шагом-м-м... арш!!

Всех Абиkey выстроил в ряд, всех от мала до велика, не обращая внимания на шутки и смущение аулчан, отродясь не ходивших вот так, вместе, гурьбой, в какой-то колонне, средь бела дня вокруг аула.

Интернатовцы с флагом, с портретами вождей дружно, в лад затопали, не щадя недавно выданных парусиновых ботинок-колодок, за ними потянулись остальные школьники и замыкали строй взрослые, кроме

нескольких стариков и старух, оставшихся сидеть полукругом на зеленой лужайке.

Шла праздничная колонна по аулу. Шла в честь великой Победы. И радость светилась на изможденных лицах. И, озираясь на строгого Абиkey, молодка-Зайра слышала неуместный разговор:

— Оу, все говорят: «Симон-шал», «Симон-шал», а он никакой не старик, а джигит...

— Ишь, ты!.. Джигитов высматриваешь, а?!

— Да нет, ойбай!— зарделась Зайра.— Я просто говорю, что молодой...

Симона-шала и впрямь было не узнать. Он сбрил свою кудлатую иссиня-черную бороду, вырядился в серый пиджак и широченные брюки; высокий, сутуловатый, горбоносый, как-то вмиг помолодевший, не по-аульному одетый. Поблескивая круглыми, печальными глазами из-под очков, он что-то говорил на мудреном Hochdeutsch маме, все норовил приласкать, прижать к себе строгую Эльму. Папа шагал, вскинув голову, глядя вдаль, видно, вспоминал торжественные парады в летной военной школе во время праздников еще до войны.

— Духовой оркестр бы сейчас!— сказал он вдруг.

— И Эрнст Буш с Песней единого фронта,— подхватил Симон-шал.— Марш, левый! Раз-два!

О, да! Сейчас эта песня была бы кстати. Эрнст Буш приезжал перед войной в Энгельс, и мама видела и слышала его, и вспоминала его красную рубашку, энергичные жесты, зычный голос и его раскатистое, будоражащее «р-р». Призывную песню об едином фронте я слышал потом не раз, и на всю жизнь врезались мне в сердце гордые, непреклонные слова: «И погому что человек — Человек!»

— Песню, товарищи! Песню-ю!— взвился пронзительный голос Абиkey.

Колонна затихла. Неровные шаги тонули в тугом ворсе весенней травы.

— Ойпырмай, как же это петь-то будем на ходу?!— удивился кто-то.— Где это видано?!

— С Абикием еще не то увидишь!

Впереди один из интернастовцев начал:

— Если завтра война, если завтра в поход...

— Тайт, негодник!— прицыкнули на него тут же.— Чтоб язык твой отсох! Глянь-ка, храбрец какой! На задку прореха, а он в поход собрался. Другую давай!

Никто не мог вспомнить маршевой песни, и тогда Темеш завел недавно дошедшую до аула скорбную, трагическую «Жас казак». Кто-то неуверенно подтянул, но и эту песню оборвали с первых же строк.

— Эй, заткнись! Не рви душу! Сегодня радоваться надо — не скорбеть.

Над колонной взмыл озорной, веселый голос мугалима Каляу.

Дегенде Балкадиша, Балкадиша,

Куйеуиң сексен бесте...

И все встрепенулись, радостно, ликующе, в такт шага подхватили:

А-ха-ха-ха, Балкадиша-ай!

А-ха-ха-ха, Балкадиша-ай!

Кто бы мог подумать, что лукавая, шальная, на веселых вечеринках исполняемая старинная мелодия прозвучит когда-нибудь маршевой песней в честь Победы?!

Тот день настал!

Шла колонна по аулу, и впервые видели здесь такое многолюдное шествие, и торжественно-взволнован был однорукий военрук Абикией, он остановил своих земляков и учеников-воспитанников из окрестных аулов у околицы, на полянке вблизи Ишима, там, где издревле шумел березовый колок.

— Люди!— сказал он вдруг.— Обнажите головы. Минутой молчания помянем родных и близких, жизни отдавших ради этого дня.

И прокатился вздох по толпе, живая боль пронзила души.

Теперь здесь уже не шумели березы, на месте леса торчали неровные пни — горькое напоминание о тех деревьях, срубленных и спиленных неумелыми вдовыми и детскими руками бурной зимою военного лихолетья.

Молчали долго. Потом подъехал баскарма и объявил:

— Всех прошу собраться у крутояра возле Есиля. Там продолжим той по нашему обычаю.

И стар, и млад, радостно гомоня, вразброд потянулись к берегу Ишима, где уже дымился казан на продолговатой земляной печке и пестрели на нетронутой траве разостланные домотканые паласы.

И настал тот день. Не миновала весть великая и наш аул, затерявшийся в березовых перелесках на берегу бурливого Ишима.

...Ночью я долго не мог уснуть. В окошко глядел месяц, похожий на лепешку. Небо вызвездилось и казалось теперь огромным шатром из жеребьячьей шкуры, проткнутой во многих местах, и сквозь эти щели, точно из какого-то другого загадочного мира, просачивался таинственный свет. Засыпая, я и не подозревал, не догадывался, что этот день будет самым памятным днем моего детства...

Завтра наступит новый день, будут новые дела...



ИЗЛУЧИНА

Повесть

I

Письмо от дочери Каспар Иванович прочитал дважды и, неопределенно хмыкнув, передал жене.

— Вот... радуйся.

Он сдернул с вешалки старый, в бурых пятнах дождевик, привычно надвинул на лоб лоснящуюся кепку, хмуро буркнул:

— Вечером потолкуем.

Через минуту за окном застрекотал «Урал»: управляющий спешил в бригаду.

Недолго длились нынче погожие осенние деньки с серебристыми паутинками в прозрачном воздухе. И половину урожая совхоз не успел убрать, как дохнул с севера ветер, нагнал унылые тучи. Каждый год та же волынка: только нальется и забронзовеет колос, а погода

так и поровит выказать свой вздорный нрав. И начинается — аврал, бессонница. До белых мух, считай.

В письме была фотография: Эля с каким-то чудиком, оба в больших, на пол-лица, темных очках. Должно быть, уж больно весело им было, когда фотографировались. Иначе разве додумаешься до такого? Но, присмотревшись, Валентина заметила, что дочь улыбается смущенно, а у парня лицо напряженное, серьезное. Почувствовав вдруг смутную тревогу, Валентина пробежала первые строчки и уронила руки на колени. «Тихо, тихо, не волнуйтесь,— писала дочка,— выхожу замуж. На полном серьезе! Да, да, это он, мой избранник. Прошу любить и жаловать».

Дальше не читалось, взгляд каждый раз спотыкался об эти строчки, и Валентина вновь посмотрела на фотографию, словно стараясь заглянуть в глаза дочери. Лицо парня показалось неприятным. «Будто слепцы,— с досадой подумала Валентина.— Еще бы маску нацепили». Эля бойко сообщала, что на днях они с Эдиком подадут заявление в ЗАГС, свадьбу решили сыграть на Октябрьские торжества, и присутствие предков, естественно, крайне желательно. В конце стояла приписка: «Об остальном напишет Эдик».

Это было неожиданно. Еще летом, когда дочь гостила на каникулах, о замужестве и речи не было. Да и рано вроде: Эле и двадцати нет, и учиться еще почти год.

Весь день Валентина думала о письме дочери, и дома, и на работе не раз перечитывала его, надеясь понять, кто он, этот Эдик, ее будущий зять, где работает, или учится, когда успели пригласиться друг другу, но так ничего и не вычитала. Ясно одно: дочь собирается замуж. «Боже!— все удивлялась Валентина.— Сама будто недавно замужем, и вот тебе... дочь». Ей не терпелось поговорить с мужем — как же быть, что ответить Эле, но Каспар Иванович вернулся лишь в полночь, залпом выпил кружку молока, швырнул к порогу заскорюзлый дожде-

вик, стянул сапоги и плюхнулся на кушетку. Он уснул тут же, не успев даже подложить под голову подушки. Утром вскочил чуть свет, начал ругать погоду, синоптиков, растяпу-комбайнера. Валентина, спешно собирая на стол, не вытерпела, спросила:

— Так что же делать?

— Что?— не сразу понял Каспар и озабоченно поскреб щетину на щеке.— А-а... Какая сейчас, к черту, свадьба?! Зерно гниет, понимаешь? План горит!..

— При чем тут план?

— При чем, при чем... Приспичило! Там ведь сказано, что этот... Эрик напишет.

— Эдик,— поправила Валентина.

— Ну, пусть Эдик. Напишет что-нибудь путное — подумаем.

Каспар плеснул в кесушку густой заварки. Он почернел, осунулся за последние дни. Глаза воспалились. От него пахло дождем, землей, прелым сеном.

— Больно быстро как-то,— запечалилась Валентина.

— Хм, быстро... Такое время. Это мы с тобой, дурни, восемь месяцев каждый вечер по поселку шледали, мерзли, пустые речи вели. А зачем? Напрасно только время и себя изводили.

— Как это?

— А так! Чего тянуть-то, когда все ясно... Ладно, я пошел. Возможно, не вернусь сегодня, на стане заночую.

Каспар толкнул дверь, но у порога обернулся.

— Ты вот что... пошли-ка ей сотни две... на всякий случай.

Вскоре пришло письмо и от Эдика. Оно произвело приятное впечатление. Парень писал, что решение их с Элей бесповоротное, заявление уже подали, и просил о родительском благословении. О себе сообщил: недавно вернулся из армии, работает газосварщиком, родители тоже работают, имеют собственный дом с садом. «Конечно,— говорилось далее,— надо бы, по обычаю, мне или

родителям съездить к вам, обо всем договориться, да только все заняты, и ехать далеко, поэтому лучше и проще, если вы приедете сразу на свадьбу».

Каспар Иванович по привычке хмыкнул.

— Ишь, ты!.. Рассудительный какой! И про дом намекнул, и про сад. И сам решил, что лучше и проще.

— А кто и откуда родители — не пишет. Может, тоже с Волги?

— Бряд ли... Фамилия странная — Шувье.

— Все же лучше, если б сначала к нам приехали,— задумалась Валентина.— Вроде неприлично прямо на свадьбу.

— Ну, раз все работают... Кому охота за две тысячи километров тащиться девку сватать? Да и видишь — написано: решение бесповоротное.

В тот вечер супруги долго просидели на кухне: думали, прикидывали, планы разные строили. Утром после летучки у директора совхоза Каспар Иванович заехал на почту и отправил телеграмму: «Желаем счастья. Приедем четвертого ноября».

II

В купе было непривычно тесно. В последний раз Кексели ехали поездом без малого двадцать лет назад, когда в поисках счастья и, может, постоянного пристанища перебирались в Северный Казахстан. Тогда купе показалось им значительно просторнее. Кто знает, отчего родилось это ощущение: то ли от молодости и бездомности, то ли оттого, что ехали налегке. Валентина, помнится, несла на руках пухлощекую флегму Элю, он нес чемодан и баул — все имущество, весь скарб молодой семьи. А сейчас они везли с собой столько, что от людей неловко. С трудом втиснули в купе два громоздких чемодана со всякой всячиной, брезентовый мешок со свежим

сальцем и копченой бараниной, тугой баул, крепко перетянутый багажным ремнем.

Каспар Иванович пребывал в приятном возбуждении. Он, не торопясь, рассовал по углам и полкам вещи, шумно отдышался и тут же принялся стелить себе постель на верхней полке. Еще по дороге на станцию он решил, что первым делом, как только войдет в вагон, завалится спать и отоспится всласть за все эти долгие суматошные дни и ночи. Но едва он закрывал глаза, ему мерещились приунывшие после уборки поля, тракторы, комбайны, осеннее ненастье и бездорожье, суета на току, горы пшеницы под навесами, тугой поток зерна, льющийся из бункера. Все вновь и вновь, как наваждение, прокручивалось в воспаленном бессонницей мозгу. Да-а, что и говорить, тяжело досталась им, целинщикам, нынешняя страда. Легкой страды вообще не бывает, но нынче особенно намаялись. И теперь странно, что все вдруг оказалось позади; пусто, как всегда после перенапряжения, и одновременно радостно от сознания, что честно исполнил все, что было в твоих силах.

За окном мелькали поля и перелески — привычный пейзаж бескрайней Сары-Арки. Валентина спала, аккуратно подоткнув одеяло. Четко, однообразно стучали колеса, поскрипывало, покачивало, но сон к нему упорно не шел...

Каспар Иванович редко задумывался о прошлом: в совхозе хватало повседневных забот. Но порой, когда все же его настигали воспоминания, он испытывал такое ощущение, будто прожил уже несколько жизней: бесконечно далеким казалось то, что было когда-то. А ведь было, было, и не с кем-нибудь, а с ним...

Да, с ним... В аккурат семнадцать ему стукнуло, когда вдруг война обрушилась. Только начал было ухаживать за Лизхен из соседнего Мариенбурга и каждый вечер на велосипеде спешил к ней, не боясь, что тамошние драчуны могут и отлупить. Голова кружилась от

смутной радости, от сладостного предчувствия. Славное, безмятежное время было!.. А потом... разметало всех по осолому свету, словно песчинки в бурю. Юнцом очутился в трудармии, лес валил, рыбу ловил, дороги строил. По-видал, в общем, жизнь. И лиха натерпелся вдоволь. Понял: не так-то просто оставаться человеком. И все же — неокрепший, хлипкий — выдержал, выдюжил. Может, потому, что молод был, покладист, не роптал и не особенно ломал голову над вопросами бытия. Кто знает... Там же, на Севере, уже после войны встретил Валентину. Худющая была — почти прозрачная, с большими, не по годам строгими глазами. Поженились. Год спустя Элька родилась. Ну, стали справки наводить, родных искать. Из некогда большой семьи трое осталось: старший, единственный теперь, брат в Норильске да сестренка, младшая, с диковинной восточной фамилией, где-то за Ташкентом. И на том спасибо. У Валентины, оказалось, и вовсе никого — ни по отцу, ни по матери. Вот так-то...

Подались в Северный Казахстан, в крохотный аул Алка-сай. Отстроил Каспар чью-то заброшенную халупу, вскоре сел на машину, и жизнь наладилась. С аулчанами сразу сошелся накоротке. Касеке — так звали его уважительно. А тут и за целину взялись, народ понаехал, и преобразился тихий аул. Пересел Каспар на комбайн.

Приятно все-таки сознавать, что не зря работаешь. Да-а... Валентина пошла в совхоз телятницей.

В прошлом году уговорили поехать на трехмесячные курсы в Петропавловск. Долго отнекивался, не хотел брать на себя лишнюю обузу, да и боязно было. Зачем? И так все хорошо. Но поехал. А когда вернулся, назначили управляющим отделением. Хлопот и забот стало теперь еще больше. Но то не беда. Плохо, что уж больно быстро время летит. И голова сесть начала, и вот — дочь замуж выходит.

Легко думалось под стук колес. И впервые за долгое время никуда не надо было спешить.

К вечеру второго дня показалась окраина большого города: маленькие, точно дачные, домики, лепившиеся друг к другу по обе стороны глубокого, размытого горной речкой оврага. Высоченные тополя уже по-осеннему поблекли, пожелтели, но вдоль тротуаров еще зеленела трава, кое-где виднелись клумбы. Валентина растерянно посмотрела на мужа. Они вырядились почти во все зимнее, а здесь еще ходили налегке — в пиджаках, плащах-болонье.

— Может, у Виктора остановимся? — предложила Валентина. — Неудобно вваливаться вот так к... сватам.

Виктор, племянник Каспара Ивановича, жил в двухкомнатной квартире и работал художником в театре. Племянника Каспар Иванович не понимал: тот вел себя как-то бестолково, суетно, держался вызывающе, по любому поводу ввязывался в спор, и тогда сверкал глазами и презрительно кривил губы. Вообще племянник был со странностями.

Эля и Эдик встретили их на перроне с цветами. Валентина, не зная, что делать с пышным букетом, отдала его мужу, тот подержал неумело, словно веник, посмотрел на вещи, занявшие всю площадку у вагона, и сунул букет снова дочери. Пока пробирались к стоянке такси, Эля тараторила без умолку о каких-то неотложных свадебных делах, и Каспар Иванович понял, что молодым сейчас вовсе не до них, видно, они спешат куда-то и не прочь отвезти их со всеми вещами безразлично куда — хоть к Виктору, хоть к сватам, лишь бы скорее. Договорились остановиться все же у Виктора, а к сватам поехать завтра с утра.

Племянник оказался дома. В затрапезной куртке, вельветовых, с заплатами, в обтяжку, штанах, взъерошенный, с нелепой кургузой бородачкой, он вприщур оглядел дядю с головы до ног, не сразу узнавая, а потом усмехнулся и сказал, будто только вчера виделись:

— А-а... Салют передовикам сельского хозяйства!..

Весь аул с собой волокете или оставили вон там? Ну, проходите, проходите. Не стесняйтесь. Быстро разве пусть вас не смущает. Я ведь один живу.

-- Ка-ак? А... а...

— Жена, хочешь сказать?.. Разошлись, как и море корабли...

Каспар Иванович заморгал в недоумении, не зная, как отнестись к словам племянника: то ли улыбнуться, то ли придать лицу скорбное выражение.

— Нет, нет... Соболезнования не нужны,— хмыкнул Виктор.— А вы, значит, дочь пропивать? Ну, ну, валяйте!

Каспар Иванович улыбнулся, однако от слов племянника его покорибило. Непонятно было, то ли осуждает, то ли одобряет их этот насмешник.

III

Был воскресный день, но сватов дома не оказалось. Соседский мальчишка, настороженно оглядев гостей, впустил их во двор и сообщил, что Эдик с Элей ушли в ювелирный магазин, а хозяева скоро придут.

— А где они? — строго спросил Виктор. Ехать сюда он не хотел, на воскресенье у него намечались другие планы, и потому был заметно не в духе.

— Здесь... недалеко... — смугился мальчик.

— На базаре, что ли?

— Нет... у Таубера... у знакомых.

Потоптались у крыльца, осмотрелись. Виктор, почесав бороду, съязвил:

— Не по чину тебя встречают, дядя. Зря только свои побрякушки нацепил.

Каспар Иванович скосил взгляд на орден, медали и два значка на лацканах нового пиджака и подумал, что в самом деле напрасно так прифрантился. Выходит — выхвывается перед сватом.

Порядок на дворе ошеломлял: дорожка подметена,

на перилах, ступеньках, скамейке ни пылинки; затейливо выложенные вокруг клумбы кирпичики выбелены, даже собачья конура поблескивала свежей краской. Отлично ухожен был и сад. Кусты вдоль изгороди подстрижены. Хворост сложен аккуратными вязанками. Нигде ни хлама, ни веточки, ни соринки. «Ну, конечно,— подумала Валентина, пораженная невиданной чистотой.— Люди городские. Скотину не держат. С мусором не возятся. Ни ветра, ни дождей опять-таки...»

Ждали полчаса — сваты не появлялись. У Виктора ниссякло терпение.

— Ладно, ждите, а я, пожалуй, поеду,— буркнул он.

— Подожди чуток... — попросил Каспар Иванович.

Здесь, в большом городе, он почувствовал себя скованно, неуверенно и опасался, что без племянника вовсе растеряется, боялся опростоволоситься, и видел, что Валентина смущена еще больше, чем он сам.

— Да что они там, у Таубера твоего, блины пекут?— дернул плечом Виктор.

— Нет... просто... Сейчас придут... — пролепетал мальчик.

Прошло еще полчаса, когда, наконец, скрипнула калитка, и супруги Шувье — оба чистенькие, просветленные — улыбнулись гостям и начали извиняться. Впереди шла девочка-подросток, худенькая, глазастая, голенастая, со вздернутым носиком, так не соответствовавшим — Виктор это мгновенно уловил — выражению детской покорности и отрешенности на лице. Она сразу прошла в беленькую летнюю кухню во дворе, прошмыгнула тихо, бочком, испуганно косясь на бороду Виктора...

Познакомились, пригляделись, примерились друг к другу. Женщины направились в дом, а мужчины — в глубь сада, к крохотной, виноградом увитой беседке. Каспар Иванович достал портсигар, щелкнул крышкой, протянул свату, тот поспешно покачал головой и все

с тем же благостным выражением на лице вежливо спросил, как доехали, как самочувствие, не устали ли, и умолил, потирая тяжелые, мозолистые ладони. Был сват щупл, сухощав, сутуловат, лицо избородили глубокие морщины, в глазах застыла скорбь, и губы улыбались вымученно, кротко. «Видно, хлебнул горя, помяла жизнь»,— подумал Каспар Иванович. Беседа что-то не клеилась. Хозяин задумчиво тянул: «Да-а... Так оно, значит... Та-ак...», а Каспар Иванович осторожно стряхивал пепел и ерзал от смущения. Виктор косился на них, нервно пощипывал бороду и вдруг начал задавать короткие и резкие вопросы. Сват, Иоганн Яковлевич, отвечал тихо и скупно. Откуда родом? Да какое это имеет значение, молодой человек? Ну, в общем-то, с Украины. Жена, Мария,— тоже. После войны за Уралом жили, а здесь, считай,— лет десять. Живем помаленьку. Худо-бедно, а есть свой дом, свой уголочек, свое гнездышко. Кем работаю? Да простым слесарем в автопарке. Сам бог велел не гнушаться черной работой. До пенсии, мил-человек, пахать да пахать. Мария — санитарка в больнице, тут неподалеку. Вот так, значит...

Каспар Иванович начал рассказывать об ауле, о совхозе, о директоре, о нынешнем урожае, и по его словам получалось, что нет лучшего места на земле, чем аул Алка-сай на берегу Ишима, что там и простор, и воздух, и масштабы и все такое прочее. Он увлекся.

— У нас вроде не совхозное собрание...— оборвал его племянник.

Иоганн Яковлевич вежливо слушал, морщил лоб, время от времени вздыхал: «Да, да, хлебушко, хлебушко... Сколько мук, сколько горя людского из-за хлебушка... Слава богу, теперь-то хлебушка наелись досыта». Каспару Ивановичу не понравились ни его вздохи, ни это жалкое — «хлебушко». И вообще выходило как-то нелепо: Каспар Иванович рассказывал о земле, о добре, о том, что теперь только жить да жить, а Иоганн Яковлевич,

страдальчески морщась, уныло поддакивал, будто соглашался, но совершенно некстати каждый раз заключал: «Да, да... много безобразия, много несправедливости вокруг творится», хотя ни о чем таком никто и не заикался.

Вернулись с ворохом коробок и свертков невеста с женихом, и хозяйка пригласила всех в дом, к столу. В комнатах тоже царил такая стерильная чистота, что Каспар Иванович почувствовал оторопь. Виктор у входа снял ботинки, дурашливо подул на ноги, обмахнул ступни носовым платком и направился к столу, вытянув вперед руки. Никто, однако, не засмеялся, и Каспару Ивановичу стало неловко за племянника, который, очевидно, был уже не в силах скрывать досаду и раздражение. Это настораживало: племянник при всем своем взбалмошном характере имел острый глаз и точный нюх на людей.

Хозяйка разлила по крохотным стопочкам вино, сказала: «За знакомство!» и, выждав, пока гости выпьют, отставила рюмку, а Иоганн Яковлевич даже не дотронулся до своей. Закусили, и опять заговорила Мария.

— Ну что, милые гости... Давайте все обсудим. Чтобы и хорошо было, и просто, и — не будем скрывать — дешевле.

При этих словах Эля и Эдик, сидевшие в углу рядком, смущенно потупились. Под Каспаром Ивановичем за скрипел стул.

— Правильно, — ввернул Виктор. — Возьмите, тетя Мария, инициативу в свои руки. От этих мужчин, мямлей, нынче проку мало.

— Я думаю, пригласим человек... ну, двадцать, — продолжала Мария и глянула на мужа. Тот промолчал. — Хватит, а?

— У нас, в ауле, недавно фельдшера на пенсию проводили. Так на тое было пятьсот человек, — заметил Каспар Иванович.

— На чем было? — не понял сват.

— На тое. На пиру, значит. Пятьсот человек! Здорово! Кобылу зарезали, десяток овец. Юрты поставили.

Иоганн Яковлевич насупился, повел плечами. На что, интересно, сват намекает? Мария тоже слегка опешила.

— Вам виднее,— подала голос Валентина.— Нам приглашать здесь некого. Да и не знаем, как это в городе делается.

— Да, да, как скажете — так и будет,— спохватился Каспар Иванович.— Мы тоже не с пустыми руками приехали.

Эля улыбнулась отцу,

— Уж не собираешься ли ты, дядя, тоже пятьсот человек пригласить? — полюбопытствовал Виктор.

— Да нет... я это... просто так... к слову...

— Значит, так...

Мария обстоятельно рассказала, как они намерены справить свадьбу, и Кексели ни в чем возражать не стали. Только Виктор в конце спросил:

— А про музыку не забыли?

— Я достану радиолу,— откликнулся Эдик.

— Хм...м, и с пластинками?

— Конечно... — не поняв, замаялся жених.

Ели молча. Почти все вопросы предстоящей свадьбы были обговорены. Каспар Иванович поглядывал на ополовиненную бутылку и недоумевал, почему хозяева не наполняют стопок, и вообще зачем эта кисленькая водичка?

— Вы должны знать,— глухо произнес Иоганн Яковлевич. Он почти не дотрагивался до еды и сидел с таким видом, будто его ничего не касалось. Глубокие складки легли возле рта. Взгляд стал жестким, колючим.— Да, должны знать: мы люди... верующие.

Эдик вспыхнул, лицо покрылось пятнами. Эля сжа-

лась, опустила голову. Каспар Иванович не сразу понял, что сказал сват. Он дожевал котлету и усмехнулся:

— Э, мы ведь тоже это... не совсем безбожники. Лютеране, кажись.

Валентина прыснула и лукаво стрельнула глазами в мужа.

— Неужели?! А я думала, ты католик.

— Нет, вроде лютеранин.— Каспар Иванович рассмеялся.— Точно... Я помню. Католики жили на противоположном от нас берегу. Мы еще, бывало, друг друга поддразнивали. У них, помнится, и выговор был другой.

— Вот не думала. Столько прожила, а... Слушай, ты, может, еще и верующий? — Валентина развеселилась.

— А ты?

— Ну, куда мне, грешнице! А все же две молитвы помню. Ты же и «аминь» по-немецки не скажешь.

— Что-о?— Каспар Иванович был озадачен.— Какие еще молитвы?

— А вот... дай бог памяти.— Валентина вскинула голову, приняла набожный вид.— Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe! Sei mir gnädig und erhöre mich! Gelobet seist du¹.

— Ну и ну,— удивился Каспар Иванович.— Откуда у тебя это? Я такого и не слыхивал.

Иоганн Яковлевич поморщился.

— Мы тоже были лютеранами,— тихо произнес он.— А теперь — баптисты.

Наступила тягостная тишина. Валентина переглянулась с мужем.

— Ка-ак?!

— Вот так... Я говорил Эдуарду, чтобы написал вам об этом. Но, вижу, постеснялся он... А скрывать нечего.

¹ Господь, услышь глас мой, когда к тебе взываю. Будь милостив и внемли зову моему. Хвала тебе... (нем.).

Каспар Иванович откашлялся, поджал губы, посмотрел в окно. Жених с невестой тихо встали и удалились в околовую комнатушку.

— Конечно, конечно...— Виктор задергал бородой.— Только позвольте уточнить: какие баптисты? Свободной воли, чистые или... Какие там еще бывают?..

Иоганн Яковлевич тяжело глянул на него. Виктор выдохнул привычное «Х-хэ!», схватил бутылку, налил себе полстакана и выпил залпом. К облегчению всех вошла робкая девочка-подросток, что-то прошебетала матери, стараясь не смотреть на гостей.

— Наша дочка. Лизочка,— сказала Мария.— В седьмом классе учится.

— И тоже... верующая?— поинтересовался Виктор. Девочка смерила его строго-осуждающе.

— Неверующих людей не бывает,— заметил Иоганн Яковлевич.— У каждого должна быть вера. Иначе как?..

Попрошались сухо, договорившись провести свадьбу через день. В такси Валентина обрушилась на дочь.

— Ты знала?.. Ты представляешь, куда идешь?

— Не паникуй, мама. К чему?..

— Ой, девка, чует мое сердце, намучаешься.

Эле совсем не хотелось этого разговора.

— Брось, мама! Подумаешь — баптисты! Люди как люди, тихие, порядочные. Если дурью маются — их дело. Нам-то с Эдиком — что?

— Ой, не знаю... Разное говорят.

У общежития Эля вышла.

— Ну, дядя, считай, влип. Поздравляю!— сказал дома Виктор.— Через год-другой и ты баптистом заделаешься. Глядишь, и пресвитером в своем ауле станешь.

— Ну, я-то, положим, вряд ли. А вот ты вполне подойдешь. Вид у тебя подходящий... Впрочем, объясни: кто они — баптисты?

— Хэ... думаешь, я знаю? Слушал как-то лекцию, а толком не понял... Сектанты.

— Ну, и ладно,— отмахнулся Каспар Иванович.—
Муторно что-то от этих разговоров...

IV

Все началось лет шесть назад, когда на тихой, зеленой улице на окраине южного города объявился благообразный пожилой мужчина. Неизменно тщательно выбритый, опрятный, златозубый, он держался на людях степенно, с достоинством, имел обыкновенные пытливые, испытующие разглядывать всех и все вокруг. Жил он замкнуто, с молодой, дородной, немногословной женщиной, и вначале многие гадали: то ли жена она ему, то ли родственница. Потом стали к нему захаживать соседи, потом — соседи соседей, им нравилось слушать пришельца: человек бывалый, умный и справедливый. Все чаще теперь можно было услышать: «Таубер сказал», «Таубер посоветовал», «Таубер считает». Из взрослых многие относились к нему с почтением, даже с подобострастием, поговаривали, что он из влиятельных меннонитов¹, немало поскитавшийся по свету и теперь на склоне лет облюбовавший эту неприметную, уютную улицу. Пленяла несколько витневатая немецкая речь Таубера. Казалось, он плел затейливую сеть из туманных словес, и не сразу можно было понять, даже уловить, что он хотел сказать, но гости, слушавшие его, неизменно испытывали благоговение и восторг. Таубер знал все немецкие диалекты, искусно вводил в свою речь диалектные словечки, варваризмы, при случае прибегал, саркастически оттеняя, к обычной повседневной мешанине, на которой говорило большинство соплеменников.

¹ Меннониты — протестантское течение, сложившееся в XVI веке в Нидерландах. Основателем его был проповедник Менно Симонс.

А когда к тому же пухлая Анхен, молодая жена Таубера, глубоким, грудным голосом душевно выводила старинные, тягуче-протяжные песни, на глаза пожилых мужчин и женщин невольню наворачивались слезы. После таких вечеров у Таубера — с чтением, речами и песнями — гости его становились ласковыми и добрыми, внимательными друг к другу. Со временем поползли слухи: Таубер — ловкий, опытный сектант; очень скоро его просторный, под железной крышей дом стал местом радения баптистов. Таубера часто навещали и супруги Шувье, восхищались образованностью и обходительностью хозяина, радушием и смиренностью хозяйки, а потом вдруг Эдик с удивлением, необъяснимым чувством, похожим на гадливость, узнал, что его родители стали прилежными членами секты Таубера. Это его ошеломило: неужели такое возможно здесь, в большом современном городе? Он и раньше чувствовал что-то неладное. Родители — особенно отец — переменялись, заводили непонятные и смутно-неприятные речи, все чаще поминали божье слово, начали молиться перед обедом. Было во всем этом что-то постыдное. Но потом появились замусоленные толстые тетради, переписанные от руки, брошюрки, отпечатанные на ротапринтере, с духовными притчами и со стихами, и разные непонятные книжонки в блестящих обложках, невесть где и кем изданные. Эдик старался реже бывать дома, ел в одиночестве, чтобы только не слышать бормотание отца перед едой и не видеть смиренных поз и чужого, скорбного выражения на лицах родителей.

Дома, казалось, все было по-прежнему, только скучнее. Книжки и журналы — а их было и без того мало — мать выкинула в сарай, сказав, что нечего разводить пыль в доме. Телевизор отец отнес в комиссионку, заметив, что кощунственно и грешно смотреть фильмы, в которых люди истребляют друг друга, и любоваться грубой толкотней здоровенных парней с клюшками на ледяном

пятакке. Отец придирался к сыну по всякому поводу, не хотел, чтобы Эдик ходил на собрания, участвовал в школьных соревнованиях, водился с дружинниками. Называл сына лоботрясом и шалопаем, пораженным греховными помыслами. Эдик огрызался, и между ними нередко вспыхивали споры, возникали стычки.

— Да пойми ты,— стараясь быть спокойным, говорил отец.— Не бывает неверующих людей. Не бы-ва-ет! Это только в молодости кажется, что ничему не веришь. А повзрослеешь, ума-разума наберешься и поймешь: пельзя без веры. Нельзя!

— Может быть, и так,— горячился Эдик.— Но согласись, вера-то разная бывает.

— Правильно, разная. Но истинная — только одна.

— И это — ваша?

— Это божья вера. Да, да!

Эдику было трудно спорить с отцом. У того все получалось как-то убедительней. Не обладая какими-либо серьезными познаниями, отец, однако, был напичкан всякими сведениями религиозного толка, ловко цитировал евангелие, рассказывал мудрые притчи, и Эдик чувствовал, что его прямолинейная правда словно тонет в тине отцовских доводов, и он начинал злиться, не в силах отстоять свою правоту.

— Как ты не понимаешь? — продолжал отец.— На свете всегда были, есть и будут верующие. Что они, потвоему, все плохие, отсталые, нечестные люди? Баптизм существует почти четыреста лет. Нас тоже миллионы среди всех народов. Есть Всемирный союз баптистов. И что — все дураки?

— Не знаю...

— То-то же! Отрицание — не довод. А неверие — та же самая вера, если хочешь знать.

«Черт его знает! — негодовал и недоумевал Эдик.— А ведь неплохо сказано: неверие — та же самая вера. Может, напрасно я кипячусь? Ну, верят. Ну, молятся.

От жизни отгородились, замкнулись. В духе божьем истинную мудрость ищут. Ну, так большая в том беда, или...»

— И почему ты вбил себе в башку, что нас нужно стыдиться? Или даже бороться с нами? Мы ведь никому не мешаем. Живем тихо, скромно, довольствуемся малым, работаем...

— Работаете. Но как? Ведь и работать по-всякому можно. Все дело в том, как и ради чего.

— Ишь ты!.. Ради чего. А ради чего все работают? Чтобы в брюхе не урчало да над головой крыша была понадежней.

— Неправда! Есть более высокие цели.

— Это все слова красивые и лживые. Суть твоей высокой цели — мирская суета, жажда славы, жирного куска и блага за счет ближнего. А мы не гнушаемся черной работой, от которой, кстати, все бегут, а просто работаем для спасения души.

— Вы работаете ради куска хлеба. И все! Больше вас ничего не касается. И работаете, точно мученики. Вот воскресник был, хоть один из вас пошел?

— Это необязательно.

— Вот-вот, необязательно. А что у вас обязательно? Сидеть по домам да все хаять и брюзжать? Старые обиды ворошить?

— Не зарывайся: ты пока на шее у меня сидишь.

Эдик молчал, от обиды покусывал губы.

В школе издавна действовал кружок юного атеиста. Эдик посетил его несколько раз, чтобы послушать лекции учителя истории. Митрофан Семенович длинно и скучно рассказывал о различных религиозных учениях и течениях, о противоречиях и несуразицах в библии и разном учении в евангелии, о том, что религия и наука несовместимы, ибо слепая вера есть обман и опиум народа. Все это казалось далеким и нереальным.

Эдик пытался поговорить о своей беде с Митрофаном

Семеновичем, но так и не осмелился, было стыдно, боязно от одной мысли, что ребята узнают, кто его родители, и засмеют. Он стал скрытен, замкнут, избегал друзей, К урокам готовился кое-как. Споры с отцом становились злей, ожесточенней.

— Напрасно нас такими плохими считаешь,— говорил отец, потирая тяжелые руки.— Кому какое дело до нашей веры? Никто не имеет права отнять ее у нас. Никто! Мы работаем, не ворует, не пьем, не распутничаем. А вокруг что делается?!

— Что же?

— Да душа людская гибнет в воровстве, разгильдяйстве, обмане, корысти и жадности неумной.

— Ну, заладил! Одни гадости тебе мерещатся.

— Не мерещатся — вижу!

— Что ты можешь видеть? Живешь, как крот. Слушаешь бредни Таубера...

— Таубера не трогай. Это честный, благородный человек. Много и невинно пострадавший.

— Пострадавший... А за что? За то, что жульничал, спекулировал, людей с толку сбивал. Даже в войну, когда люди кровь проливали, твой Таубер спокойненько на пасеке отсиживался, книжки почитывал, медом торговал, последнее у людей выменивал. А теперь вам головы морочит...

— Сплетни меньше бы слушал. Что ты понимаешь в жизни этих людей?! Об их страданиях, обидах, о несправедливости, которые они пережили?!

— А, слышал, слышал... Только и долдоните про обиды да про несправедливости. Сами-то больно справедливые? Все уши прожужжали. Нельзя вечно жить в тумане обид. Надо же смотреть за горизонт старых неурядиц.

— Ах, слова-то какие: «туман обид», «горизонт неурядиц»...

— Зачем берeditь раны, вызывать боль?

Со временем отец с сыном перестали спорить, только ссорились изредка. Иоганн Яковлевич смотрел на сына неприязненно, возмущался его строптивостью, неблагодарностью, и все думал о том, что старое дерево и впрямь невозможно исправить, и не раз вспоминал мудрость Соломона, гласившую: «Наставь юношу при начале пути его...» Матери будто не касались их отношения, она вообще отстранилась от всего и больше возилась с маленькой Лизой, ласково нашептывала ей вечерами что-то на кухне, и Эдик заметил перемену в сестренке. Недавняя шалунья, озорница, собиравшая вокруг себя всю малышню переуллка, теперь забросила игры, днями пропадала дома и во дворе, за обедом вместе с родителями покорно становилась у стола, сложив ручонки на животе и устремив глаза к потолку, и тоже шептала набор молитвенных слов. Эдика кидало в жар, он весь дрожал от негодования, когда слышал из детских уст сестренки жалкие, приторно-слащавые стишки, вроде: «Nun schlaf, mein liebes Kindelein, und tu dein Äuglein zu...», «Ich bin ein kleines Kindelein und meine Kraft ist schwach...», «Was bin ich denn? Nur Asch' und Erde, ein armer Wurm»¹. Он сам не понимал, отчего это его так бесило, возмущало, но он сам сдерживал себя, уговаривая: «Ну и пусть! Мне-то что...» Однако это «пусть» не убеждало. По воскресеньям родители забирали Лизку с собой к Тауберу, чтобы приобщить ее к наставлениям господним. Оттуда сестренка приходила странно притихшая, торжественная, и глаза ее лучились, и это Эдика больше всего поражало.

— Слушай,— сказал он ей как-то.— Какая тебе охота торчать со стариками и старухами у Таубера?

— Там не одни старухи,— ответила Лизка.— Там и

¹ Усни же, милое дитя, и глазки свои прикрой...; «Я крохотное дитя, и силы мои слабы...»; «Что я есть? Только пепел и прах, ничтожный червь...» (нем.).

Катя Шефер, и Вика Майер, и Эмма Шилберг, и Ваня Меркель, и еще, и еще... С нами тетя Аня занимается.

— Как... занимается?

— Ну, песни поем, стихи учим, рассказы слушаем.

— Брось, Лизка! Вздор все это! Пойдем лучше в воскресенье в зоопарк. Там пингвинов привезли.

— Пингвинов? — встрепелась Лиза. — А какие они?

— Увидишь... Такие потешные!

Лиза на мгновение задумалась и по-старушечьи поджала губки.

— Не ищущай, антихрист!

Эдик чувствовал себя дома совершенно одиноким. В нем росло, накапливалось раздражение, и он боялся, что сорвется, выкинет какую-нибудь глупость.

V

Свадьба была как свадьба. Как у людей. Жених в черном костюме, при галстукe, строгий и внимательный; невеста вся в белом, воздушном, счастливая и красивая. Сопровождали их умиленные и взволнованные родители, дружки, знакомые. Было все, что подобает в таких случаях: и торжественное шествие по лестнице Дворца бракосочетания, и обмен кольцами, и поцелуи, и шампанское с конфетами, и расторопный, под хмельком, фотограф, и такси, украшенное лентами, с пластмассовой пучеглазой куклой на радиаторе, недоуменно растопырившей ручки. Все были оживлены, и только Виктор, видно, вспоминая свою свадьбу, все кривил губы и думал про себя: «Боже! Даже свадьбы на одну колодку. Разноцветные шары, куклы в нейлоне... Тьфу!» Потом долго усаживались за столы, пили и ели, кричали: «Горько-о!», танцевали во дворе, на асфальтированном пяточке под охрипшую радиолу, и снова ели и пили. Свадьба как свадьба. Как у людей.

И все же чувствовалась какая-то подспудная скованность, настороженность. Что-то неопределенное, неискреннее будто витало в воздухе. Об этом никто не говорил, но чувствовалось, что хозяину не по душе вся эта непривычная колготня в его усадьбе, что и к невестке не лежит сердце, вот не лежит и все, может, потому что — об этом пока никто не знал — он считал ее легкомысленной, недостаточно учтивой и излишне бойкой, самоуверенной. В нем вновь поднималась неприязнь к сыну, который все эти дни ни в чем не советовался с ним, а только учил, как все должно быть, твердя каждый раз: «Эльвира так считает». Это задевало самолюбие хозяина, и он ругал про себя сына: «Тюфяк! Еще жениться не успел, а уже подкаблучник».

Встревожена была и сватья Мария: невеста привела с собой из института больше парней и девчушек, чем предполагалось, и были все они — в глазах Марии — чересчур горластые, шальные, бесцеремонные, и она просто не представляла, как с ними быть, была обескуражена, подавлена таким многолюдьем, выбита из привычной колеи, из всегдашнего благопристойного, твердо заведенного порядка. Она суетилась, хлопотала, говорила что-то невпопад. А тут еще совершенно неожиданно пожаловал собственной персоной сам Таубер. Накануне он вежливо отказался от приглашения, сославшись на недомогание и на то, что, якобы, неприлично ему, старому пугалу, мозолить глаза молодым. Иоганн Яковлевич обиделся, понимая, что причина отказа отнюдь не в недомогании и — тем более — «старом пугале», а в том, что не вышло, как того желал Таубер и как — если уж быть откровенным — того хотел он сам, родной отец жениха. Теперь Таубер, чистый, опрятный, смиренномудрый, рядом с грудастой и гладкой Анхен, восседал за столом в передней, среди своих прихожан, обсасывал гусиную ножку, прислушивался к гвалту, доносившемуся из гостиной, где пировала молодежь. Здесь, в передней, сидели чинно, не до-

трагиваясь до зелья, ели как бы пехотя, и вид у всех был отрешенно-строгий.

Каспар Иванович чувствовал себя тоже не в своей тарелке: за долгие годы жизни в казахском ауле он привык к щедрости и широте подобных торжеств: чтобы сладко булькало в громадных котлах на жер-ошаке — продолговатых земляных печках, чтобы в углу под навесом бугрились пузатые саба с кумысом, а на огромных подносах-табаках дымилась душистая баранина впере-мешку с янтарным копченым казы — конским жиром, чтобы все вокруг колыхалось, шумело, горланило, как при сабантуе, и чтобы над всем этим вместе с дымом от очагов плыла гортанная речь и песня. Каспар Иванович незаметно выскользнул из передней и подался в гостиную к молодежи, присел с красшкя, рядом с рыжей, крашеной девицей в брючном костюме, за которой ухаживал Виктор.

Непонятная тревога вкралась и в сердце Валентины: никак не могла понять, с чего она началась, но весь день ей было не по себе. Нет, Эдик, — теперь уж, считай, законный зять — ей понравился, ладный парень, видный, она вполне одобряла выбор дочери. Только она хотела, чтобы он учился, пока еще молод, о чем прямодушно намекнула еще в первый день. Тревожило что-то другое... Может, то, что сватья Мария взяла с ней снисходительно-покровительственный тон, может, то, что эти люди в передней рассматривали ее явно подозрительно, как бы заранее исключая ее из своего круга, словно от нее отстранялись, отмежевывались, а может, просто болело материнское сердце за неведомую судьбу дочери? Ведь, что ни говори, а замужество — все равно, что путешествие в незнакомые края. Никогда не знаешь, что поджидает тебя в пути.

Среди паствы Таубера, собравшейся в передней, находились и родители той «христовой невесты», которую намеревались выдать за Эдика. Они сидели угрюмые,

с выражением обиды на лице, смотрели с откровенной неприязнью, осуждающе на ничего не подозревающих Эльзу, Валентину, Каспара Ивановича. Остальные их сопранезники сочувствовали им, в душе укоряли хозяина, который не смог повлиять на собственного сына. И Поганин Яковлевич чувствовал это недовольство им и всячески ублажал своих братьев и сестер по вере, своих гостей, и, как только мог, угождал Тауберу.

А молодежь между тем веселилась, забавлялась. Бутылки на столе опустошались одна за другой, и сватья Мария не на шутку встревожилась: не слишком ли высокий темп взяли молодые люди, эдак к ночи и на стол ставить нечего будет. Эля с Эдиком, кажется, ничего вокруг не замечали, они видели только друг друга. Гулянка разгоралась, становилась все шумнее. Одни еще ели и пили, другие вихлялись и дергались, «самовыражались» под немислимую какофонию, третьи затеяли беготню по саду.

— Ну что, милые люди, может, и мы споем, тряхнем старинной? — Валентина оглядела всех за столом в передней и затянула неожиданно высоким голосом. — *Schön ist die Jugend bei frohen Zeiten...*¹

Несколько теток, удивленно переглянувшись, подхватили:

— *Schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr...*

Вдруг стройно, четко, троеголосьем запели и мужчины, и могуче зарокотал, загудел, низко стелясь, густой бас благообразного, холеного старика, сидевшего во главе стола. Голоса полились слаженно, привычно; у женщин заблестели глаза, у мужчин смягчились, разгладились морщины. Каспар Иванович тоже смело вклинился было в хор, однако осекся, уловив, что его поневоле заносит на обочину, в сторону, точно коня-неука на скачках.

¹ Слова из популярной народной песни: «Прекрасна молодость, в веселую пору. Прекрасна молодость, она уж не вернется...» (нем.).

Он понял, что ему сподручней петь с молодыми, которые поют кто в лес, кто по дрова, зато громко. Старинная, вечно молодая песня, исполняемая, как священный ритуал, веками на всех немецких свадьбах, лилась точно из сердца, и едва хор уже немолодых женщин и мужчин допел последние слова, вынырнул откуда-то Виктор и ловко затянул рефрен:

— Ja, ja, sie kommt nicht mehr...

И все вновь тем же четким, созвучным трехголосьем повторили весь припев и только было умолкли, как уже с другого конца стола Виктор опять запел:

— Ja, ja, sie kommt nicht mehr...

И в третий раз прозвучал припев о невозвратной молодости, и гости в передней улыбались выходке этого бородатого озорника... Потом спели еще несколько песен, которые Валентина смутно помнила из детства, и все, кто сидел в передней, сразу оживились и повеселели.

Наступил тот час, когда свадебным застольем управлять уже было невозможно. Иоганн Яковлевич все же пригласил всех в дом, с трудом усадил за стол и стал звать к вниманию. Наконец-то, молодежь утихомирилась, и хозяин, весь просняв, попросил Таубера сказать доброе напутствие молодым. Таубер тяжело поднялся, подошел к двери гостиной, встал в проходе, сцепил пальцы на животе, вскинул голову.

— Юные друзья мои! Эдуард и... э... Эльвира!

У Таубера был приятный, стелющийся бархатный голос, но говорил он по-русски с явным акцентом, отчего слова обретали непривычную окраску и торжественную значительность.

— Соединение двух юных, чистых душ — всегда благо. Ибо сказано: посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью; так что они уже не двое, но одна плоть...

— О-го! — пьяно воскликнул Виктор. — Когда же они успели?

— Хи-хи-хи... — залилась рыжая в брючном костюме. Таубер выдержал паузу, пожевал губами, оглядел всех.

— И сказано еще: не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. И вижу и я рад, что у дерева доброго... — Таубер показал на Иоганна Яковлевича, — вырое добрый плод. — Он кивнул Эдику.

— Горько-о-о! — завопил кто-то.

— Тише! Дайте же сказать человеку!

— И да будет счастлив ваш брак, — продолжал Таубер. — Всех почитайте, братство любите, да убоится жена мужа своего, а муж обращается благоразумно с женой, как с немощнейшим сосудом, как сонаследницей благодатной жизни, имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь, дети мои, покрывает множество грехов и...

— Да, да, усердная любовь, она это... все покрывает, — насмешливо заметил в наступившей тишине Виктор. — Аминь!

Первой захихикала крашенная девица, за ней весело рассмеялись и остальные: так комично прозвучало это «Аминь!» после торжественно-возвышенных, непривычных для слуха слов.

Таубер обвел всех пристальным взглядом, сделал умиротворяющий жест, сдержанно поклонился и вышел, досадуя на себя и на хозяина, уговорившего его сказать речь перед этими неучтивыми, захмелевшими юнцами. Вслед за Таубером начали понемногу расходиться и прихожане. А молодежь гуляла до утра, до первых автобусов...

VI

— А дальше, дальше что было? Я, оказывается, еще совсем, совсем тебя не знаю...

Эля прижалась к нему, стыдливо натянув на оголившуюся грудь одеяло. В полуоткрытое окно из сада дохнуло утренней сыростью. В причудливое сплетение теней робко проникали бледные рассветные лучи.

— Узнаешь... — Он улыбнулся.

...Однажды перед обедом, когда отец начал бормотать молитву и мать с Лизочкой замерли в смиренной позе, Эдик включил транзистор, лежавший у него на коленях. Транзистор ему вручили недавно на межрайонной спортивной олимпиаде, и он не расставался с ним. Отец искоса взглянул на него и начал бормотать громче. Эдик осторожно прибавил звук, и страстный, ликующий баритон Муслима Магомаева заглушил его. Тогда отец подскочил к Эдику, закатил ему оплеуху и, вырвав транзистор, швырнул его в окно.

В ту ночь Эдик впервые не ночевал дома. Не пришел он и на другой день. А вскоре девятиклассников отправили на двухнедельную производственную практику. Там, в совхозе, он познакомился с начальником геологической партии, уговорил его на лето взять с собой. Вернувшись после практики домой, Эдик собрал в рюкзак пожитки, и уехал снова в совхоз, а оттуда — в туркменские степи. Мать он предупредил, что уезжает и, возможно, надолго.

Слово свое сдержал. Осенью школьная подруга получила от него письмо: работает в Чарджоу на стройке, скоро будет сварщиком, устроился в общежитии, намерен учиться в вечерней школе.

Потом пришла пора служить, и лишь на втором году службы в Закарпатье его вдруг захлестнула неодолимая тоска по дому. Преследовали сны: тихая, зеленая улочка на окраине города, близ аэродрома, колонка на углу тупичка, уютный сад, беседка, увитая виноградом, стройный ряд тополей, слышалось сонное бормотание армыча и сдержанное повизгивание Верного, всегда радовавшие

гося, когда Эдик приходил домой. Он сообщил матери: жив, здоров, служит — и вскоре получил ответ. Писала Лиза аккуратно и подробно: папа с мамой работают на прежних местах, она учится, дома все, как было, только Верного уже нет. Еще наказывала сестренка, чтобы брат скорее кончил службу, что служить — грех, нельзя служить Молоху, и чтобы он — блудный сын — вернулся домой, так как папа его простил, и бог простит. В конце письма крупными буквами было выведено: «Да хранит тебя господь!»

Приуныл Эдик, прочитав письмо. Понял: Таубер по-прежнему преуспевает...

Встретились после пятилетней разлуки. Мать ахнула, узнав в подтянутом, плечистом, пышноусом мужчине сына. Отец, заметно постаревший, поседевший, смущенно потирал руки, покрякивал: эка, вымахал сын! Эдик блаженствовал, наслаждался тишиной и домашним уютом. Было лето. Ночи стояли душные. Он спал во дворе, на старой кушетке в винограднике, подолгу разглядывал мерцавшие между листьями звезды. Он вспоминал все подробности своей короткой жизни, думал о том, что немало, должно быть, наделал ошибок, было грустно оттого, что все это прошло, прошло невозвратно, прошли и детство и юность. Сердце сладко вздрагивало, замирало, все отодвигалось вдруг разом, и томили душу печальные думы о том, что многое могло бы случиться, свершиться, но почему-то не случилось, не свершилось, а он стоит уже у порога новой, взрослой жизни, и никогда уже не будет, конечно, не будет ни этого безмятежного состояния души, ни этой тишины, ни все более редких, счастливых мгновений при воспоминании о детстве, ни даже этой грусти... И еще он думал, что надо быть добрей, снисходительней к людям, к их слабостям, проявить великодушие к родителям, ведь в самом деле нелегкой была их судьба, и, видимо, они согнулись, подломились, и так уж случилось, что после того, как заимели дом и

перестали думать о хлебе насущном, не оказалось у них ни целей, ни больших желаний, и вот нашли себе утешение в том, что собираются у красная Таубера, гнусавят молитвы и унылые песни, самих себя лишают человеческой радости, ищут забвенья и счастья там, где их нет и никогда не будет, и не может быть, ну и пусть, пусть, пусть... Что теперь? Не он им, в конечном счете, судья. Так думалось звездными ночами, и чувствовал он себя сильным и великодушным.

Через неделю пошел на работу. Он был молод, здоров, времени — хоть отбавляй. Он жил необремененный заботами, наслаждался свободой, ходил часто и много по городу, легко находил приятелей и так же легко их терял. Девушки пялили на него глаза, и он, ухмыляясь, мизинчиком поглаживал густые пшеничные усы.

— Жениться не думаешь? — спросила как-то мать, будто в шутку.

— Невеста еще не родилась, — ответил он, смеясь.

— Ну, невесту мы бы подыскали.

— Кто это «мы»? — насторожился он.

Мать смутилась, поняв, что невзначай выдала свое желание. И Эдик нахмурился, догадавшись, что «мы» — это те, кто собирается в просторном доме под железной крышей, что, видно, есть у них на примете одна из юных сестер во Христе и что, должно быть, уже шел разговор о такой сектантской свадьбе под режиссурой благодетеля Таубера. И снова в их доме будто холодком подуло.

Однажды в парке возле пруда он обратил внимание на двух девушек. Они ели мороженое. Невысокая, пухлощекая блондинка приглянулась. Он подошел, улыбнулся, раздвигая щетку усов.

— Нет ли желания на лодке прокатиться?

Девушки ответили не сразу, оценивающе оглядели его сверху донизу, прыснули. Потом блондинка улыбнулась, обнаружив ровные сахарные зубы и ямочки на щеках.

— Допустим, есть, тогда что?

— Тогда я к вашим услугам. Сочту за честь. Вон лодка. Прошу!

— Что ж... Попробуем.

Весь день они провели втроем, а на другой вечер он пришел к Эльвире, как звали белокурую девушку, в общежитие. Они встречались каждый день и уже через месяц стали поговаривать о женитьбе.

...— Ну, а...

— Дальше я уже все знаю. Дальше уже не ты, не я, и мы.

— И всегда мы.

— И всюду, везде, только мы...

VII

Вечер. Каспар и Иоганн сидят в беседке и думают каждый о своем. Возле летней кухни хлопочут женщины, убирают после отшумевшей свадьбы.

— Знаете,— начинает Каспар Иванович.— Единственное мое желание — дать Эле возможность закончить институт. Ведь всего год остался.

— Их дело,— сухо отвечает Иоганн Яковлевич.— Как хотят...

— А жить, хотя бы на первых порах, у вас, конечно, будут?

— Места хватает. Но... боюсь, две хозяйки в одном доме не поладят.

— Почему?

— Сами знаете... Мы люди тихие, темные. А молодежь теперь балованая, больно грамотная.

— Ну, и..?

— Пойдут разлады, обиды... Зачем это нужно? Лучше, говорят, молодых сразу отделить.

— Понятно,— замечает озабоченно Каспар Иванович.

Потом он обращается к молодым.

— Ну, новоиспеченные супруги, каковы же планы, позвольте спросить?

Эля шутит:

— Это у тебя, папа, планы. Посев, покос, уборка... А мы без плана пока поживем.

— Планы...— Эдик морщит лоб.— Эля будет учиться, я — работать.

— А потом,— подхватывает Эля,— я — работать, а он — учиться.

— Это мы еще посмотрим.

— Никаких посмотрим! Я сказала — все!

— Отныне, милая, не я и не ты, а мы.

— И всегда мы.

— И всюду, везде, только мы...

— Ладно,— улыбается Каспар Иванович.— Это потом решите. А жить-то где намерены?

Молодые недоуменно переглядываются.

— Где?..— переспрашивает Эля.

— Как... где?— озадачен Эдик.

— Понятно,— заключает Каспар Иванович.

Два дня они с Валентиной ходили по кривым улочкам за маленьким базаром, прозванным Восточным, нашли приличную комнатку с кухонькой, купили кровать и стол.

— Вот... Живите. Чем можем — и впредь поможем. Как говорится, мир да совет!

Через день супруги Кексели с одним чемоданом, набитым яблоками, уехали домой.

Прощаясь с ними, Виктор съезвил:

— Видите, в два счета вас детки общипали. В следующий раз, помяните мое слово, с одной авоськой отправитесь.

— Ладно, не обеднеем...— Каспар Иванович теребил племянника за рукав.— Ты вот что... Поглядывай за ними изредка. Сам понимаешь, молодые. Если что — пиши...

— Х-хэ!.. Нужен им мой догляд...

VIII

Молодожены могли теперь удостовериться в мудрости поговорки о рае в шалаше. Скучно было в их квартирке и плоскокрышем домике, но они этого не замечали, потому что были счастливы своей любовью. На первые лекции Эля теперь чаще всего опаздывала, или приходила невыспавшаяся, с синевой под глазами, и подруги подтрунивали над ней. Институтская жизнь отодвинулась на второй план. Эля уже не спешила, как прежде, в публичку, а досиживая последние лекции, думала о том, как по пути домой пройдет по рынку, купит всякой всячины и сообразит отменный ужин, от которого ее Эдик придет в восторг. А Эдика, действительно, все восторгало: и пирожки с капустой, купленные на базаре, и острый дунганский салат, от которого огонь пылал в желудке, и тоненькие румяные лепешки, испеченные в тандыре, и даже сама попытка Эли сварить нечто похожее на плов. Они восторгались друг другом. Казалось, только теперь, став супругами, они познали истинное счастье любви. Даже если в обнимку, сидя на одном табурете. Ночами, утомленные ласками, они тихо и долго разговаривали, мечтали, все более увлекаясь, и мечты эти были не очень определенные, зыбкие, но неизменно красивые, возвышенные, сотканые сплошь из радостей и удовольствий. Иногда они заглядывали к родителям, и Мария, скорбно поджав губы, смотрела на осунувшегося сына, на то, с какой жадностью ел он любимую домашнюю лапшу, которой его неумеха-жена, конечно же, не баловала, и жалостливо вздыхала. Иоганн Яковлевич каждый раз отрывисто спрашивал: «Ну, как?» и, не дожидаясь ответа, отворачивался.

Зимой, после сессии, они поехали на две недели в Северный Казахстан, в аул на берегу Ишима — Алкасай. Стояли морозы, дули беспрестанно февральские ветры, наметая сугробы. Эля ликовала: «Вот это зима! Настоя-

щая, сибирская!» Но Эдик не разделял ее восторга, зябко поеживался, ворчал, что околеет в этой дикой глуши. Встретили их шумно, радостно. Аулчане валили в дом управляющего, чтобы поздравить Касеке — Каспара Ивановича — с приездом дочери и посмотреть на «куйеу-бала» — зятя. Валентина угощала, потчевала гостей, а Эля бойко тараторила по-казахски, судачила со старухами и молодайками, смущаясь, отвечала на вопросы степенных стариков. Гости долго не задерживались, пили чай, благодарили хозяев, желали всего доброго молодым и уходили, говоря: «Э-э, жаксы, жаксы! Барекельде!» В большом доме управляющего было многолюдно, немного бестолково, но хлебно, весело. Каспар Иванович и сейчас, зимой, был весь в хлопотах и приходил домой только вечером. Зятю он пространно рассказывал об отделении, о снегозадержании, о ремонте тракторов и машин, об агрономических курсах в совхозе. Валентина смеялась:

— Да уймись ты! Эдику это совсем неинтересно.

— Как неинтересно? — искренне недоумевал Каспар Иванович. — Как это может быть неинтересным?!

Он не давал скучать зятю. Возил его на ферму, в совхозную мастерскую, в леса, притихшие под снежной нависью, знакомил с аулчанами, которые по его словам, были все сплошь редкими, незаурядными людьми.

— Видел?! — спрашивал, разводя вокруг руками, Каспар Иванович. — Здорово ведь, а? Давай к нам!

Зять снисходительно улыбался.

— Что я здесь делать буду?

— Как что?.. Для начала в мастерскую пойдешь. А там видно будет. Работы у нас, брат, — ого!

— Не-е... Не по мне это...

— Подумай... Эля в школе бы работала. Что вам в городе ютиться? Здесь-то вы нужней. Да и нам веселей бы было.

По казахскому обычаю, их приглашали из дома в дом. Иногда приходилось дважды-трижды на дню бывать в

гостях. Даже из соседнего аула приезжали однажды на санях за ними.

Как-то вечером, во время игры в подкидного, Каспар Иванович спросил зятя:

— Так как же решил насчет учебы?

— Успеется. Нам с Элей еще на ноги встать надо.

— Как? Разве не стоите?

— Мы-то стоим,— засмеялся зять,— да вокруг нас ничего не стоит.

Эля пояснила:

— Эдик хочет, чтобы у нас за два-три года было все-все необходимое.

— А-а... Ну, будет у вас все-все необходимое, а потом что?

— Потом... жить будем.

— Как?

— Просто. Жить и все. По-людски.

— Забавно...— Каспар Иванович насупился.— Барахлом обростете, сами не заметите. Много ли человеку надо?

— Ой, много, много,— вздохнул зять.

— В ваши ли годы об этом думать?

— А что делать? Чем мы хуже других? Сейчас знаете, как люди живут?

— Знаю. Вижу. Только то, что ты имеешь в виду,— чепуха!

— А что не чепуха?

— Не чепуха...— Каспар Иванович подумал,— твое дело. Ну, чтобы ты работал, и тебе было приятно, и людям толк. Я так понимаю.

— Правильно, конечно, понимаете. И мы это слышали. Так говорят те, кто уже успел наладить свой быт.

— Хм... И что за удовольствие с места на место скакать? Сегодня — слесарь, завтра — сварщик, послезавтра — строитель...

— При чем тут удовольствие? Просто ищущу, где выгодней. Один черт, где вкалывать.

— Ну, не говори! А для души?

— Для души — потом. Мы ведь знаем, что первична материя.

— Материалист ты мой безматериальный, — засмеялась Эля.

Каспар Иванович пристально посмотрел на дочь и зятя и, бросив карты, отправился в спальню.

Буря, наконец-то, выдохся. Стояли тихие и лунные ночи. Молочный свет струился в большие окна зала, а за окном все казалось таинственным, причудливым. Аул спал. Вдалеке, вдоль Ишима, темнел тугай. Ни скрипа, ни шороха. Только телеграфный столб за окном гудел монотонно, бесконечно. От камина шел уютный жар. Эля в ночной рубашке сидела на краю кровати, свесив ноги. При лунном свете она казалась неестественно бледной.

— Что с тобой? — спросил Эдик.

Она ответила не сразу. Было в ее задумчивости, странно отрешенной позе, во взгляде, ушедшем в себя, что-то непривычное, новое. Он осторожно коснулся ее плеч.

— Знаешь... — Голос ее был тихий, с хрипотцой. — И ничего-то ты не знаешь. А у нас будет... будет..

Она не договорила, прижалась к нему.

IX

...Потянулись дни и месяцы. Незаметно складывались они в годы. Немало испытаний принесли они молодой чете Шувье.

Жизнь — как выяснилось — оказалась сотканной не из одних радостей и удовольствий. И это открытие их вначале обескуражило. Особенно нелегко пришлось Эльвире. Диплом надо было упрятать в чемодан: Моника родилась как раз к новому учебному году. Подруги, сверстницы разъехались кто куда, с институтом, со всем укла-

дом студенческой жизни ничего теперь ее уже не связывало, и Эльвира почувствовала вдруг себя в большом городе совершенно одинокой и растерянной. Отныне, как-то сразу, вся ее жизнь, до этого безмятежная и немножко сумбурная, замкнулась в крохотном мирке — муж, Моника, дом. Невозможно было смириться с такой крутой переменой. А тут еще и дом был не свой.

Эля постоянно чувствовала на себе зоркий и придирчивый глаз хозяйки. Той казалось, что молодые и дом отапливают неравномерно, и белье вешают не туда, и свет порой жгут до глубокой ночи, и собаку на привязи своим присутствием нервируют понапрасну, и ребенок больно горласт, и калиткой хлопают излишне громко. Элю не покидало чувство вины перед этой сварливой теткой, и она помимо воли все время норовила чем-нибудь угодить ей. Это было унижительно.

Эдик все еще носился с идеей приобрести как можно скорее «все-все необходимое», после чего он намеревался зажить «по-человечески», однако вскоре стало ясно, что ему одному этой идеи не осуществить, и Эльвира часто вспоминала отцовские слова относительно «барахла», но очень скоро поняла, что нехватки, узлы да чемоданы отпущь не украшают семейную жизнь. Наступила пора, когда поговорка о рае в шалаше начинала терять свой первоначальный притягательный смысл. Особенно тягостно было от обрушившегося вдруг одиночества. Совсем рядом, за несколько остановок от этого сонного островка, бурлила жизнь, от которой, казалось, ее насильно отлучили.

У Эдика тоже не оказалось друзей. К тому же он часто менял работу: все искал, где получше. Завернул однажды к ним Виктор, еще более обросший, посидел, поглядел, скривился и предложил переселиться к нему, по крайней мере до тех пор, пока он не вздумает жениться еще раз, но Эля думала, что с Виктором это может случиться в любое время, да и слова его прозвучали

не очень убедительно, поэтому она не придала им значения. Вообще двоюродный брат был для Эли в некотором роде загадкой. Она знала, что он работяга, очень увлечен своим делом, но смутно догадывалась также, что еще он немного фрондер и скептик и в общении с людьми, особенно мало знакомыми, часто играет, напускает на себя, любит ошарашить неожиданными выходками и даже пошлыми словечками. С ним она чувствовала себя всегда скованной, растерянной вроде. Серьезного, простого разговора Виктор словно избегал.

Так и жили. Эля была всецело занята Моникой и связывала отныне все лучшее с тем временем, когда подрастет, окрепнет дочка, и ее можно будет устроить в ясли или оставить у какой-нибудь бабки. Эдик работал еще и в домоуправлении — на полставки электрика, надеясь получить через год-полтора квартиру, хотя бы и без удобств.

Наконец, Моника кое-как удалось устроить в детсад неподалеку от дома. Свободных часов для географов, однако, нигде не предвиделось, и Эльвира отправилась в школу возле железнодорожного вокзала, где студенткой проходила педагогическую практику. Здесь помнили прилежную практикантку, за нее сразу заступилась неугомонная Галия Закировна, организатор внеклассной работы, нашли шесть часов географии и выделили группу продленного дня.

Эльвира принялась за работу с неутоленной жадностью. Ее захлестнул суматошливый ритм школьной жизни. Школа была показательной, с эстетическим уклоном, да и завуч обладал редким даром всех тормошить, будоражить, подстегивать и придумывать всем работу. Казалось, в этой школе не столько учились, сколько старались непременно удивить, ошеломить приезжавших и приходивших за опытом количеством самых невероятных, фантастических мероприятий. Эльвира и не заметила, как помимо уроков и занятий в «продленке», очути-

лась и в театре «Юность», и в учительской самодеятельности, и в разных комиссиях, подкомиссиях, комитетах, советах, бюро, которых оказалось в педагогической сфере великое множество.

Времени не хватало. Эля всюду спешила и все равно не успевала. Перемены в жене не поправились Эдику. У него-то как раз времени был избыток. По пути с работы он забирал Моннику, кормил ее, гулял по двору и ждал, ждал, ждал Элю, чувствуя, как в нем неодолимо, все ответственнее вскипают досада и раздражение. За эти годы он привык к тому, что жена всегда была дома и ждала его. Теперь Эля приходила поздно, то радостная и взбодраженная, то подавленная и усталая, переполненная школьными новостями и впечатлениями, и в любом случае начинала выкладывать все-все, что накипело у ней в душе, еще более раздражая мужа.

Школьные хлопоты продолжались не только днем, но и вечерами, потому что надо же было когда-нибудь проводить собрания, заседания, совещания, семинары, собеседования, обсуждения, конференции, педсоветы. И Эля, целуя уже спавшую к ее приходу дочь, говорила как бы между прочим:

— Бедные... Совсем мама вас забросила...

Эдик, нарочно гремя посудой на кухне, ворчал:

— «Мама»... Можно подумать, у ребенка есть мать...

— И завтра опять одни останетесь, — как бы не слыша колкости мужа, приговаривала Эля.

— Почему это? — настораживался Эдик. — Завтра же воскресенье.

— Да вот... с ребятами в туристический поход иду.

— Слу-у-ушай! — Эдик начинал бледнеть от возмущения.

— Что делать? — ласково оправдывалась Эля. — Я ведь географ... И в плане намечено.

— К черту! Ты прежде всего жена, мать. У тебя семья!

— Да?.. Хорошо, что напомнил.

Нелады, неурядицы несколько поубавились, когда они получили квартиру. Эдик с получением квартиры и приобретением обстановки внушил себе, что все жизненные цели им достигнуты и теперь надобно спокойно, «почеловечески» жить. Приходя с работы, он заваливался на диван и наслаждался уютом собственного гнезда. Иногда до ночи забивал в беседке с пенсионерами «козла» или играл с подростками в настольный теннис. Он стал часто навещать родителей, вел с отцом и Таубером нескончаемые пустопорожние разговоры про историю немецких колонистов, про роковые указы и манифесты Екатерины II, о потоке предков-меннонитов, о разных подозрительных слушках и сплетнях, бог весть каким путем доходивших до этих уллиц.

Эльвира замечала, что вариации на тему Таубера, как она называла эти праздные разговоры, все больше привлекают мужа, что с некоторых пор он их прямо-таки обожает, смакует, иногда он и ей принимался всерьез рассказывать таинственно-доверительным тоном, но все это Элю совершенно не трогало, и Эдик злился, высокомерно хмыкал и в отместку не слушал теперь и ее рассказы про школьные дела. Он заметно изменился, стал мнительен, заносчив, подозрителен. Он усвоил привычку презрительно шурить глаза и смотреть на всех так, словно хотел каждого уличить в неискренности или каком-нибудь тайном пороке.

Жизнь все больше разлаживалась, и Эля порой думала, может, действительно, она во многом виновата, может, слишком увлекается своей работой, слишком много отдает себя школе. Иначе как объяснить все более заметное тяготение Эдика к Тауберу, к тому самому благообразному баптистскому пресвитеру, которого он одно время так люто ненавидел, считая его виновником всех домашних бед? Эля не могла этого понять. Вообще ко всему тому, чем жили и что так близко принимали к серд-

пу родители мужа и многие их знакомые, Эля никогда не относилась всерьез и в душе считала это блажью, чудачеством, что ли, шпцем, помимо повседневной, часто нелюбимой работы, не связанных людей. Теперь, когда Эдик охотно участвовал в беседах Таубера и отца и повторял вслед за ними какие-то смутные измышления, прежние безразличие Эли уступило место неприязни к тому, что составляло духовную пищу тауберовского круга. «Странное превращение», — думала она. Может, среда, в которой он, Эдик, провел детство, все же оставила свой след, свою мету? Может, одной ногой он так и остался в том кругу? И то, против чего он в юности восставал, теперь незаметно захватило, увлекло его с той же силой? И, может, именно она, Эля, тому причиной? Может, увлеченная своими школьными делами, она недостаточно чутка, внимательна к мужу?

Эля иногда ловила себя на мысли, что подстраивается, подлаживается к мужу, льстит, занскивает, и от этой мелкой лжи становилось противно. Оба предпочитали молчать. На субботу и воскресенье Эдик оставлял Моника у родителей, и Эля решила, что таким образом муж ей изошренно мстит. Сам он ходил хмурый, будто взвалил на свои плечи вселенское горе.

Решила как-то Эля поговорить по душам.

— Эдик, а не попробовать ли тебе еще раз поступить в институт?

— Пробовал... Для Шувье там места нет.

— Ну, провалился раз, с кем не бывает?

— Я не проваливался, меня провалили!

— Так всегда кажется...

— «Кажется»... Что это вы с твоим отцом пристали ко мне с учебой? Я что, глупее вас, если уж на то пошло? Или мало одной ученой в семье? Сказано: «Во много мудрости много печали».

— О! Прямо как Таубер говоришь...

— А что тебе Таубер? Дорогу перешел?

Эля вздохнула.

— В том-то и дело, что перешел. И не столько мне, как...

— Вздор! Если разобраться, ни в Таубере, ни в баптизме большой беды не вижу.

— Вот как! Помнится, раньше ты придерживался иного мнения.

— Дурак был. А теперь вижу: все это так себе, невинное утешение.

— Что, что?! Откуда у тебя такие мысли?

— На досуге, представь себе, в голову пришли. Размышляю...

— Таубер, небось, внушил?

— Хотя бы и Таубер. А что, не так разве?

— Ничего себе клуб! Утешение!.. А я ведь чувствовала, что ты понемногу скатишься в это болото... что засосет оно тебя.

— Но, но... не очень-то...

— Что «но, но»? Парнем был — пошумливал, из дома уходил, а теперь сам туда же? Перелицевался герой! Неужели ты не понимаешь, что твоё брюзжание, твоё нытье оттуда идет?! Да, да, оттуда! «Для Шувье там места нет». Это ведь тоже от Таубера. У него одна песня. И без припева. Так рассуждают многие на вашей улице.

— А на вашей?

— Не перебивай! Вон Ваня Меркель, здоровенный парняга, окончил семь классов и в дворники пошел. Решил, что с него достаточно, всего достиг. Леня Майер грузчиком в магазине устроился. А Катя Шефер? Завела птицеферму в своем саду и довольна.

— Ну, и что? Может, им это нравится? Кому-то надо ведь и черную работу делать. Не всем же с дипломами быть...

— А почему — ты подумал? Почему они от своих сверстников отстали? Почему ни к чему не стремятся, знаешь? Да их подшибли с детства. Им внушили всякую

гадость — все тот же Таубер со своими тихонями-праведниками. Вот оно, твое невинное утешение!

— Не там причину ищешь, дорогая.

— Нет, там, дорогой! Это они же с твоими родителями Лизе жизнь испоганили. А ты, братец ее родимый, правдолюбец, слоняешься в скорби бесплодной. Надоело мне это, надоело!..

— Постой, постой! Не тараторь! Я что-то не понял насчет Лизы.

— Не знаешь, чем она занимается?

— Чем? По улице не шалается, в больнице работает...

— В больнице... А про «воскресную школу» слышал? Что она детей калечит, знаешь?!

— Какая еще «воскресная школа»?

— Будто не знаешь?!

Х

На республиканское совещание передовиков сельского хозяйства приехал и Каспар Иванович. Он не остановился в гостинице, несмотря на настойчивые уговоры областных делегатов, с которыми успел подружиться в поезде, а сразу поехал к дочери. На севере еще стояли морозы, временами мела поземка, а здесь была ранняя весна, склякотно и сыро.

Он сразу заметил: дочь осунулась. Некогда тугие, с ямочками, щеки поблекли, глаза ввалились. Он спросил:

— Не болеешь?

— Не-ет...

Он начал выкладывать гостинцы — свертки, коробки, банки, мешочки, коротко объяснял:

— Это от матери. Это Монике шубка. Это от Зайры. Это Кульшара подсунула. Колбасу свиную, домашнюю, Энгель передал. Казы от Бекима. Мешочек курта от Зураш. А Яков Самарский ничего лучшего не мог при-

думать: бутылку самогона для Эдуарда приволок. Кстати, где он?

— Кто?— Эля покраснела.

— Не Самарский, конечно. Эдик...

— При... придет...

Эля обрадовалась отцу. Как всегда, шумный, деловитый, резкий в движениях. С его приездом сразу тесно стало в городской квартирке. Огромные валенки, шуба, чемодан заняли весь коридор. Он привез с собой запахи мороза, степных ветров, родного аула.

— Ну, а ты как?— поинтересовалась дочь.

— Спрашиваешь! Две нормы нынче совхоз дал. Представляешь, после засухи-то? Кабиден-бригадир Героем стал. А мне — еще один орден.

— Поздравляю!

— Хм... Давно могла бы. Вообще, почему не пишете? Хоть бы Моника скорее грамоте выучилась, что ли.

— А она уже многие буквы знает!

— Да ну?! Значит, будешь деде с бабой письма писать, а?

Моника робко прижималась к матери, однако с любопытством таращила глазенки на свертки.

— Ну, ну, не бойся. Такая большая, ты что? Знаешь, что у меня есть? А? Вот достань-ка сама.

Каспар Иванович с таинственным видом полез в карман.

...Вечерело. Уже и чай попили, и домашнюю стряпню, гостинцев отведали, и Каспар Иванович нетерпеливо спросил:

— Так где же хозяин-то? Или он у тебя приходит, когда ему вздумается?

И Эльвира, потупившись, все поведала отцу...

XI

Было отчего отчаиваться.

Окончив восемь классов, Лиза попыталась поступить в кооперативный техникум и не прошла по конкурсу. «Ну, конечно», — многозначительно изрек тогда Иоганн Яковлевич, и было непонятно, то ли он огорчен, то ли злорадствует. Понимать его слова следовало так: «Я знал, знал, что так оно будет. Разве есть на свете справедливость? Нашему брату хода нет». Переубедить его было невозможно. Именно так поняла отца и Лиза, и это было так удобно — объяснять все свои неудачи, невезения или неспособность какой-то роковой несправедливостью. Пойти в девятый класс Лиза не пожелала, да и родители не настаивали. Эльвира уговаривала золовку перейти к ней в школу, но Лиза только качала головой, а Иоганн Яковлевич пробурчал: «Зачем? Какой смысл? Учись хоть десять, хоть пятнадцать лет, все равно сидеть у разбитого корыта». Эльвиру коробило от этих слов, но доказывать что-либо свекру было бесполезно. Он никогда не спорил с невесткой, только презрительно-пристально вперял взгляд, как бы говоря: «Уж что ты, пигалица, можешь понять?!» Он внимал только словам Таубера. Эдик молчал, а потом, должно быть, назло жене сказал: «Пусть на работу идет. Сомневаюсь, что институты кому-то счастья приносят». В последнее время у Эдика появился неопровержимый аргумент: я, дескать, неуч, работаю по восемь часов, имею два выходных дня в неделю и получаю больше, чем моя высокообразованная жена, которая изо дня в день с утра до вечера торчит в школе.

Пошла Лиза вместе с матерью в больницу санитаркой. Разумеется, беды в этом не было. Но Лиза по-прежнему прилежно посещала молитвенный дом, и не только посещала, а стала всеобщей любимицей секты, правым оком Таубера. Она делала разительные успехи в языке, во всем подражала своему духовному наставнику, и

голос у ней был высокий, чистый, и когда она на сходках, запрокинув голову, взволнованная, даже восторженная, читала «божье слово» и благовествования святых, в глазах прихожан появлялись слезы умиления. Таубер был доволен своей ученицей, называл ее дочерью во Христе, безгрешным ангелом, ниспосланным для замоления грехов и скверны человеческих и призывающим приветствовать друг друга лобзанием любви. Гордился дочерью и Иоганн Яковлевич. Вслед за Лизой пришли в секту еще несколько девушек: в просторном доме под железной крышей становилось тесно. Таубер получал откуда-то книги, журналы, брошюры в глянцевых обложках, издаваемые на чужбине, в которых, якобы, заключались самые последние, самые священные слова и откровения божии. Вскоре стали поступать прихожанам откуда-то посылки с разными диковинными вещами и тряпьем, письма от незнакомых «поздних возвращенцев» с «родины предков», и Таубер советовал не пренебрегать милосердной помощью неведомых благодетелей и «братьев по крови». И еще Таубер начал твердить о том, что вера без дел мертва, как тело без духа мертво. Все чаще поговаривал Таубер о возрастании в вере, возрастании во Христе, о воспитании детей — граждан Неба, сызмальства в духе божьем, дабы он взрастил в них свой плод. В голову пресвитера пришла идея создать воскресную школу для детей. Тут-то и раскрылись способности Лизы. Она собрала группу мальчишек и девчонок семи-десяти лет, стала распевать с ними по воскресеньям во дворе Таубера божественные песни, рассказывать им про грех мирской суеты и спасении души. Пышногрудая Аяхен угощала детей разной стряпней. Малыши слушали Лизу, вытаращив глазенки, повторяли за ней слова молитв, песен, стихов, притчей из «Kinderboten» и «Brüderlicher Rat für junge Christen»¹, охотно ходили с ней на прогулки за го-

¹ «Детский вестник». «Братские советы для юных христиан» — названия баптистских журналов.

род, к подножиям зеленых холмов, где, играя, резвясь, шнытавали с благословения родителей таинственную божью мудрость.

О существовании «воскресной школы» Эльвира узнала совершенно случайно.

— В чем дело, Эльвира Каспаровна?— спросила однажды после уроков Галия Закировна.— Ваши хлопчики отказываются участвовать в «Зарнице»

— Как отказываются? Кто?

Это было и в самом деле невероятно: обычно мальчишки с нетерпением ждали эти военно-спортивные игры.

— Так в чем же дело?— спросила Эльвира.

Мальчики переминались с ноги на ногу, шмыгали носами, хмурились. Эльвира, глядя на них, вдруг вспомнила, что эта же неразлучная пятерка недавно отказалась пойти на фильм про юных храбрецов, с погонями, с разными смешными приключениями и трюками.

— Ну, скажи, Лева, почему ты отказываешься от «Зарницы»?

— Там... в войну играют...— буркнул Лео Зельцер.— Там стреляют...

— Боишься, что тебя убьют? Это же понарошке.

— А убивать, стрелять — грех.

— Да, да,— убежденно мотнул курчавой головой Руди.— Люди должны любить друг друга, а не убивать, не воевать.

— Когда Христос придет спасти нас, он не на поле брани искать нас будет, а в молельне,— поддержал друзей Вовка.

— Вот это номер!— вырвалось у Эльвиры.— Откуда это у вас? Кто вам это сказал!

— Сестра Лиза...

— Чья... сестра?

— Н... наша...

И мальчишки простодушно поведали воспитательнице и про «воскресную школу», и про прогулки, и про пение и

чтения в доме Таубера. Казалось, они гордились своей тайной.

— И много вас там в этой воскресной школе?

— Много... Как наша группа.

— И давно вы ходите туда?

— Давно, Эльвира Каспаровна. Наверно, два года...

Эльвира, ошарашенная, в тот же день бросилась в больницу, вызвала Лизу. Та, выслушав все, сложила руки на колени, глаза будто пленкой подернулись.

— Понстине: «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, нет ничего тайного, что не было бы узнано...»

Казалось, она не слышала, о чем так взволнованно и растерянно говорила ей Эльвира. Лицо ее точно одеревенело, приняв отрешенное, отсутствующее выражение, будто в непроницаемой маске, и Эльвире стало даже неловко, стыдно и страшно за эту неприступность, отчужденность золовки.

— Пойми, ты же детей губишь! В школе их одному учат, а ты твердишь другое. Что же это будет? Имей в виду: я вашего Таубера выведу на чистую воду. Вон, оказывается, куда ведут ваши невинные молитвы. И с тебя, девочка, спросится. Не маленькая!

— В школе... Ваше дело учить, а воспитание оставьте нам, тем, кто заботится о спасении их души... Судом не грози. Есть только один суд — божий...

Эльвира поразились: взгляд Лизы оставался спокойным, кротким, а губы сжались плотно, крепко и возле них, как у Иоганна Яковлевича, легла жесткая складка.

Свою тревогу Эльвира высказала организатору воспитательной работы, не утаив, что Лиза — ее золовка и что с родителями мужа у нее давно уже сложные, натянутые отношения.

— Та-ак,— сказала Галня Закировна.— Считай, голубушка, дадут нам по шапке... Всем! А в первую очередь мне. Мы тут расширяемся, мероприятия всякие проводим, а что под носом творится — не видим. Думаем, раз

Митрофан Семенович ведет кружок атеистического воспитания, то все в порядке...— Галия Закировна усмехнулась.— А может, эти самые баптисты уже и среди учителей завелись? Надо что-то предпринять. Поверь мне, здесь дела вышли уже за педагогические рамки.

XII

— И как ты после этого жить думаешь? Ка-ак?!— сдерживая злость, спросил Эдуард.

— После чего —«этого»?

— Не притворяйся! Изуродовала людям судьбу, а сама...

— Это я... я изуродовала?!

Эльвира уже несколько раз пыталась поговорить с мужем обо всем, что случилось, чтобы внести полную ясность, но всякий раз он резко обрывал ее:

— Молчи уж! Кому нужны твои крокодиловы слезы?!

Она и сама видела: муж растерян, ошеломлен случившимся. Теперь он и к родителям не ходил, зная, что там его считают виновником всех бед. Раньше некоторые из прихожан Таубера смотрели на него с сочувствием, с откровенной жалостью, теперь же он замечал в их взглядах презрение и брезгливость. Придя с работы, Эдик целыми вечерами сидел у телевизора, мрачно курил.

Эльвира тоже ходила сама не своя, терзалась, не зная, как определить степень своей вины. Порой ей казалось, что совесть ее чиста, что ничего дурного она не совершила, наоборот,— поступила, как говорили в школе, правильно и по-граждански мужественно, разоблачив опытного руководителя группы баптистов Готлиба Таубера, который — как это потом выяснилось — занимался систематической вредной пропагандой, насаждал националистические и эмигрантские настроения, превышая права, дозволенные законодательством для религиозных и культовых отпращиваний. Но иногда Эльвире вспоминались окаменелое лицо Лизы, потрясенно выслушавшей

приговор своему духовному наставнику, строгие слова, гулко звучавшие в притихшем зале о сознательном насаждении чуждых идей, распространении клеветнических измышлений и растлении души детей, взгляды паствы Таубера, слезы на запавших щеках свекрови. И тогда она корила себя за то, что не смогла предотвратить беду, все уладить раньше, по-хорошему, по-родственному, хотя и не представляла, как бы она это сделала.

Она была убеждена: причина семейных неурядиц идет от влияния тауберовской среды. Эдик запутался и пытался усидеть на двух стульях. Случай с воскресной школой — та самая последняя, неизбежная капля, четко уяснившая суть их затянувшихся недомолвок. И нет худа без добра. Ведь рано или поздно что-то должно было случиться, и вот свершилось, и Эдику просто необходимо разобраться во всем. Так думала Эля, а Эдик, казалось, только искал повода для ссоры и даже с дочкой был сдержан.

После разоблачения «деятельности» баптистского пресвитера Таубера Лиза долгое время не могла прийти в себя. Она ушла с работы, избегала встреч со знакомыми, целыми днями, точно окаменелая, сидела дома. Казалось, она дала обет молчания. Родители, глядя на дочку, сочувственно вздыхали. Эдик не решался поговорить с сестрой по душам. Однажды Эля, пересилив себя, попыталась завести разговор с золовкой о случившемся, но Лиза, не глядя на нее, едва разжала губы: «Уйди, ради бога...»

Вскоре Лиза неожиданно уехала в Сибирь к тете Фриде, заявив, что здесь ей теперь жить невмоготу, ей противны и людские пересуды, и любопытные взгляды, и вздохи «братьев» и «сестер», и вообще все, все... Ее отъезд Эдик воспринял очень болезненно, как укор ему и его жене, главной виновнице всех напастей, как ему упорно думалось, и с того дня он все чаще поговаривал об «изломанной» судьбе сестры.

Нудно тянулись недели и месяцы. И щебетунья-Моника притихла, неслышно возилась со своими куклами в углу спальни.

Пришла однажды свекровь. Постучала робко, позвала Эдика, в дом не вошла. Из окна кухни Эльвира видела, как они понуро сидели в беседке, о чем-то беседовали.

— Что-нибудь случилось?— спросила она потом.

— А что еще может случиться?.. Письмо от Лизы.

— Да?!— радостно встрепенулась Эля.— Что пишет?

— Не все ли тебе равно?..

Это становилось невыносимым. Он растравливал в себе раздражение и изводил ее своим молчанием, постоянным укором, осуждением. Он почернел, осунулся, на переносице легли глубокие, прямые складки.

Через несколько дней Эля увидела письмо на холодильнике и сразу решила — муж оставил его нарочно, чтобы она его прочитала. Эля сдерживала любопытство, надеясь, что муж сам заговорит о письме, но он молчал, и тогда она достала из конверта помятый лист, исписанный крупным ученическим почерком. Лиза скупко сообщала, что вполне здорова, ни на что не жалуется, что тетя Фрида устроила ее на комбинат и уговорила пойти в вечернюю школу рабочей молодежи, ибо здесь все учатся и работают. Обычное бесхитрое письмо с приветами и неизменным сообщением о погоде, но одна фраза в письме Эльвиру обрадовала: «Меня всюду преследуют взгляды людей, смотревших тогда на меня из зала. О, небо! Какие это были взгляды! Жалостливые, недоумевающие, любопытные, насмешливые, презрительные, осуждающие, даже брезгливые! Почему так?.. Почему? Я ведь никому плохого не желала». Эльвира чувствовала, что за этими словами скрывались нелегкие раздумья обо всем, что было, что произошло. Эльвира поделилась своими радостными догадками с мужем, но тот помрачнел!

— Тебе рассуждать легко...

Зимние каникулы Эльвира провела в Доме отдыха и вернулась посвежевшая, оживленная, с горным загаром.

— Весело живешь?— с неприязнью спросил Эдик.

— Очень!— с вызовом ответила она.

Он потемнел лицом, тяжело дернулся кадык, взбугрились желваки.

И все же иногда вспыхивала прежняя нежность, и казалось — вот-вот что-то стронется в душе, смягчатся сердца, но это были лишь короткие озарения, точно сполохи далеких зарниц. А потом непостижимо легко начиналось все снова — все та же изнурительная молчанка, и Эльвира смирилась с тем, что радость покинула ее дом. И однажды, зимним вечером, вернувшись поздно из школы, она столкнулась с мужем на лестнице; он молча, прижимаясь к стенке, прошмыгнул мимо, и у Эльвиры сжалось сердце. На столе она нашла записку: «Больше так не могу». Слез не было, она только побледнела, прислонилась лбом к кровати дочери. В сущности, ведь ничего не менялось. Больше года они жили ни вместе, ни врозь.

XIII

Каспар Иванович слушал, все более мрачней, барабанил пальцами по столу, хмыкал, то и дело вскакивал, бормотал: «Это черт знает что! Уму непостижимо!» Эля с трудом сдерживала слезы, ждала, что скажет отец, осудит ее, упрекнет или, наоборот, поддержит, а он долго молчал.

— Когда это случилось?

— Да уже два года прошло.

— И не могла написать?

— А чего тут писать? Хвалиться, вроде нечем...

— Да-а... ничего себе история... Никогда не думал, что такое может быть. Ну, слышал так кое-что, в газетах иногда пишут. А про себя думал: чепуха, блажь...

— Так и я раньше думала.

— Помнится, отец — твой дедушка, значит, — рассказывал, как он воевал с деревенскими церковниками. Он даже хранил билет члена общества безбожников. Еще готическим шрифтом было написано. Но это ведь когда было... в двадцатых годах. А теперь... Поразительно!

— А я и вовсе понятия не имела. Только и видела, как мулла Елемес у нас в ауле благодарственную молитву творит после уразы... Пока вот... на собственном опыте...

— Тауберу этому, конечно, по заслугам дали. Сидят, видно, такие смутьяны по углам, воду мутят... А Лизу жаль... Как так проглядели человека? Конечно, ей нелегко все это пережить. Думаю, правильно поступила, что уехала. Где, говоришь, живет?

— У тети. Вроде все хорошо. Работает...

— Пишет, что ли?

— Пишет. Мне кажется, она многое понимать стала. Вот в последнем письме... сейчас тебе прочту... вот: «...часто с девчонками смотрим фильмы, и я всякий раз думаю: а как бы я поступила и что бы делала на месте героев этих фильмов те, кого я знала в доме Таубера. Мне больно думать, что ни я, ни они не смогли бы сделать хорошее, доброе, настоящее, хотя и говорили всегда о добре, братолюбии, сострадании, милосердии и смиренно-мудрии...»

— Ух, ты! Слова-то какие... — заметил Каспар Иванович.

— Вообще много здравого в ее письмах. Я ведь, признаться, ее не знала толком. Теперь вижу: непростая девушка. Многое в ней перепуталось. Пишу ей иногда, но она отвечает только брату.

— Интересно... А я читал про одну такую. Кажется, во «Фройндшафт». Так та вроде даже в институт потом поступила... Важно, конечно, к хорошим людям попасть. Ничего, молодая ведь. Все образуется.

— И я надеюсь.

— Пишите почаще. Надо с ней поласковой, повнимательней. Чтобы в себя и в людей поверила.

— Легко сказать: «поласковой, повнимательней».

— Конечно, непросто. Но на то вы и народ ученый. Вам виднее.

Эля грустно улыбнулась.

Утром, по давней привычке, Каспар Иванович поднялся рано, погромел в ванной, покурил на балконе, потом зашел в спальню. Эля убирала постель.

— А как Виктор ко всему этому отнесся?

— А что Виктор? Он со своей красавицей-скрипачкой на седьмом небе сейчас. Новый спектакль оформил — газеты писали... А мне он сказал: «Плюнь, Элька, на все и выходи за художника». Чудак!

— Все такой же... Ну, ты, однако, сильно не переживай. Правильно поступила.— Каспар Иванович подошел к окну, посмотрел вдаль, поверх плоских крыш однообразных домов-коробок.— Это вы, можно сказать, на излучине очутились. Знаешь, течет, течет Ишим, ровно, прямо. И вдруг — раз! — резкий поворот, изгиб. Излучина, одним словом. А где излучина, там и заводи, там и ил, и трясина, и всякая нечисть. Вот и вас туда потащило... Да, да, не улыбайся. Видно, так и с людьми бывает. А Эдик твой сплоховал. Не ожидал от него. Правда, понять его можно. Обида, самолюбие, душа болит, то, се. А там родители, ясное дело, подзуживают. Запутался парень... А может, между вами что-то более серьезное стряслось? А? Может, мне встретиться с ним, поговорить?

— Нет, нет, что ты?! Не надо!

— Как хочешь... — согласился, подумав, Каспар Иванович.— Сам все поймет... выкарабкается. Потом умнее будет. Эх, работай он у нас в совхозе — в два счета вся дурь из головы вон. Да, да! Видела, как вода течет в

Ишиме? Там, где излучина, она течет медленно, вяло, сонно, так, еле-еле. А потом, как вырвется из теснины, бурлит, мчится, аж пенится. А? Так и человек. Дай ему только выбраться на свою дорогу. А сам не может — помоги, подсоби. И он пойдет!

Эльвира улыбнулась.

— У тебя все Ишим на уме.

— А как же? Все хорошее в моей жизни связано с Ишимом и с приишимскими степями...

Каспар Иванович погостил четыре дня. На второй день притащил кипу детских книжек и целый игрушечный кухонный набор и окончательно подружился с внучкой. Вечерами отец с дочерью подолгу сидели на кухне, рассказывали, он — о совхозе, об ауле, о выставке народного хозяйства, куда водили делегатов конференции, она — о своих школьных делах, о проказах Моники.

Уезжая, Каспар Иванович спросил:

— Может, Моникку забрать с собой? Молочка свежеего попьет, меня с бабушкой повеселит.

— Что ты, папа? Ей ведь уже в школу скоро. Да и я одна что делать буду?

— И то верно... Ну, а матери пока о делах ваших ни слова не скажу. Не то — ночами спать не будет, изведет-ся. А ты носа не вешай.

Отец уехал, а Эля с благодарностью и радостью вспоминала его слова. Он снял с ее души тяжесть, развеял сомнения.

К сватам Каспар Иванович на этот раз не зашел.

XIV

Под ногами шуршали листья, из-за гор надвигались тучи, пахло дождем. Осень... Заладят вот дожди, нудные, томительные, пойдут туманы, такие плотные, что даже машины, словно на ощупь, поползут с зажженными фарами. Но будут еще погожие, солнечные дни...

Нет, так жить больше нельзя. Ночью сны донимают, днем одни и те же мысли преследуют. Совсем разиюнился. Языкастые девки на стройке Скорбящим ангелом прозвали.

Тополя пригорюнились. Листья долго кружатся в воздухе, прежде чем упасть на асфальт. Как не хочется им отрываться от родной ветви!

Надо все трезво обдумать. Не думать — решиться надо. На что?

Из дома он ушел не в порыве слепого гнева. Тогда он был совершенно убежден: во всех несчастьях и бедах виновата она, только она, Эльвира. Он страдал, а она жила своими школьными заботами, ходила на экскурсии, в культпоходы, а то, что он терзался, — не замечала. А один раз взяла да и укатила в дом отдыха, когда он, ее муж, не находил себе места, когда страдали его родители, его сестра, он сам, сам...

Все было определено и понятно: он ушел, ибо жена причинила ему горе, ушел, оставив ей назло все, что было ими нажито, добыто вот этими руками, ушел, ибо понял, что он не нужен. Так он думал, и так даже приятно было думать.

Однако эта ясность скоро потускнела, отодвинулась куда-то, и он начинал терять нить своих рассуждений. Чувство обиды проходило, улетучивалось, появилась просто грусть, потом тоска по своему дому, по жене, по дочурке. Заглохшую обиду — а была ли она вообще, если ее приходилось восстанавливать в памяти по крохам? — изредка подстегивал отец: «Я знал, что так будет. С самого начала знал. Надо было родителей слушать. Так нет, шибко умные, самостоятельные все стали». Эдик отмалчивался. Молчала и мать. Только вздыхала, скучая по Лизе и внучке. Эдик замечал, что мать в последнее время и молилась уже не с прежним усердием. И даже с «сестрами во Христе» встречалась редко и явно неохотно. И еще Эдик понял, что его сочувствия, запоздалые

сострадания по «изломанной» судьбе сестры, «искупленные» вины перед ней ценой собственных терзаний Лизе совершенно не нужны. Судя по отдельным фразам, по тону ее последних писем, можно было предположить, что она вовсе не ощущает себя страдальцей, как это было вначале, а отчетливо понимает, что именно случилось, и не думает плохо ни о брате, ни о невестке, ни о родителях — их она просто жалела.

В душе он и сам понимал, что Эля искренне сочувствовала Лизе, заботилась о ней, как могла. Но обида на жену, издевавшая душу, казалось, нашептывала: «А, это они всегда так! Сначала унижат человека, искалечат, потом начинают его спасать, чтобы сделать из него бездумное подобие себе».

Одно время он думал и втайне надеялся, что Эля устроится одиночества, придет за ним, или приведет Моннику, и тогда... они вновь заживут, как ни в чем не бывало. Но Эля не приходила, не давала о себе знать. И это его бесило; значит, нисколько не нуждается в нем, не нуждается ни в его заботе, внимании, силе, любви... Это было ужасно, и с этим никак не хотелось мириться, и дрожь колотила его: «Не может быть! Не должно быть!» Потом уже с каким-то злорадством говорил себе: сам ушел, сам и терзайся.

Тучи клубились над городом; ветер забавлялся, играл сухими листьями, гонял их ворохами вдоль тротуаров. На фонаре, надрываясь, каркала ворона. Спешили прохожие.

Сейчас он придет домой, в чистый, уютно-тоскливый дом родителей, переоденется и...

Как мыши, живут родители. Придя с работы, мать ходит в магазин, неслышно копошится потом на кухне, отец копается в саду, подметает двор. Потом молча, долго ужинают, нехотя, вяло молятся и укладываются спать. Ворочаются до глубокой ночи, протяжно вздыхают:

«Ах, йа-а-а...», «Ах, гот-т!..», думают о чем-то. Эдик в постылой боковушке пытается читать... И так изо дня в день, изо дня в день, недели, месяцы... И это жизнь?..

Он еще весной намеревался вернуться домой. Но когда узнал о приезде тестя (а сообщила ему это, хвастаясь новой шубкой, Моника, к которой он навещался в детский сад), всерьез растерялся. Его задело то, что тесть даже не посчитал нужным проведать сватов, встретиться, поговорить с ним, своим зятем. И он рисовал в своем воображении, как, с каким превосходством они говорили о том, что произошло, о его родителях, о нем, он живо представил, как отрывисто хмыкал и недоуменно пожимал плечами энергичный, решительный тесть, которому всегда все ясно, как дважды два. Какой, должно быть, бестолочью показался ему его недотепа-зять! Наверное, и тесть, точно как родной отец, изрек: «Я знал, что так будет...» О Викторе и говорить нечего, у того с самого начала была к нему неприязнь, хотя и не подавал виду. Он вроде презирал тайком всех непохожих на себя.

Потом он узнал, что Эля с Моникой на летние каникулы уехали в аул, а прийти в их отсутствие домой он не решился. Он даже тешил себя мыслью, что придет домой, сделает ремонт, чтобы жена с дочерью, вернувшись, ахнули бы. Это казалось так возможно...

Лето тянулось мучительно долго; после работы он не знал, куда себя деть, пирушки приятелей, бесцельное шатание по городу его не привлекали. Он недоумевал, удивляясь выдержке Эли; даже в мыслях не мог допустить, что его душевная сумятица может ей быть безразлична. Свои надежды он связывал теперь с возвращением жены и дочки из аула. Он понимал, что становится излишне мнительным, мелочным, ругал себя, но ничего не мог с собой поделать.

Хватит! Сегодня же он вернется домой. Придет и скажет: «Шабаш! Был дурак и с этим покончено! Прости...»

Да, так он сразу и скажет. А что дальше — видно будет... А, может, лучше это сделать завтра? Или послезавтра?..

Как тихо у них на улице... Дома, заборы, железные ворота, сады. Изредка перекликаются петухи да тявкают дворняжки. Гул большого города доносится приглушенно, издалека.

Сквозь дырки почтового ящика белела записка. Сердце бешено заколотилось: почерк он узнал сразу. «Пришла посылка от Лизы, но на твое имя. Открыть не решилась. Эльвира». Он раз десять прочитал эти две строчки, задохнулся от неожиданной радости, от чего-то еще не ясного, смутного, но несомненно очень, очень значительного и бросился в дом, в свою комнатку, вновь и вновь читая записку и бессвязно бормоча: «пришло... пришло...» Он всматривался в каждую букву, точно впитывал каждое слово, стараясь вычитать что-то другое, подсудное.

С запиской в руке метался он из комнаты в кухню и обратно, и вспомнил, что сегодня мать дежурит в больнице до утра. Отца тоже еще не было. В лихорадочном возбуждении Эдик ходил по дому, потом сорвал с вешалки плащ и выбежал на улицу.

Темнело. Неприкаянно метались тучи. Накрапывал дождик. Горы окутались туманом. На остановке он подумал: «Так разве я за посылкой? Или...»

Подошел переполненный автобус, но Эдик решительно втиснулся. Он знал, что Эля рада каждой весточке от Лизы, что в посылке наверняка опять кедровые орешки, любимые Моникой. Но как быть ему? Поздороваться и забрать посылку? Или открыть ее? Посидеть с Моникой?.. Чем ближе оставалось до дому, тем больше возникало вопросов, и недавняя радость сменилась робостью и сомнением. А когда он вышел из автобуса, в окнах вспыхивал свет, прохожих становилось все меньше, и он чувствовал себя все неуверенней.

Он дошел до знакомой детской площадки, постоял

у каменного верблюжонка, на котором любила сидеть Моника. Потом ходил вокруг качелей и вдруг вспомнил, что, пожалуй, неудобно, просто стыдно приходить домой с пустыми руками. Он обрадовался этой мысли, побежал в «Раушан», купил самую большую коробку конфет, потом еще одну, потом — бутылку вина, к удивлению продавщицы, попросил завернуть медвежонка, сиротливо восседавшего в углу на шоколадных плитках.

Стало совсем темно. В свете, падавшем из окон, плыл, зыбился туман, и оттого казалось, каменный верблюжонок, почему-то отставший от каравана, тоже ожил и бредет куда-то...

На кухне блеснул свет, и Эдик увидел жену. Она чиркнула спичкой, поставила на плиту чайник, задернула занавеску.

Он бросился к подъезду, взбежал по ступенькам — выше, выше. У двери стоял долго, стараясь унять дыхание. Сердце гулко колотилось. Он вытер ноги и робко нажал синюю кнопку звонка...

ЗА ШЕСТЬЮ ПЕРЕВАЛАМИ

Рассказ

I



устынная степь. Дюны и море. И сторожат это пустынное царство несколько рыбацких хибарок. Впереди, в двух-трех десятках шагов от лачуг, простирается море, позади, прямо от дороги,— приаральская степь, бескрайняя, бурая, заросшая полынью, верблюжьей колочкой.

Тихо, безлюдно. Иногда только море поворчит и волны в гневе набрасываются на берег и плюются соленой пеной. По утрам и перед закатом суматошно галдят, деля добычу, хлопотливые чайки.

Рыбаки спозаранку уходят в море, проверяют сети, сдают улов в ледник. Днем они чинят снасти, смалят, подкрашивают старые лодки, косят молодой прибрежный камыш для скотины на зиму, а к вечеру, когда спадает жара, снова отправляются в море, переставляют сети на новые места, где по их расчету ночью или на

днях должен пройти косяк рыб. Возвращаются поздно, когда со степей стремительно надвигается густой мрак южной ночи.

И женщины в вечных хлопотах: доят верблюдиц, разделявают, коптят, вялят, сушат рыбу, заготавливают курт, ткнут из разноцветной пряжи паласы, варят, стирают...

Малыши день-деньской пропадают на берегу моря: купаются, жарятся на песке, встречают и провожают отцов, играют в свои незатейливые игры возле наполовину вросшего в землю лабаза и таинственно-молчаливых дюн.

Эркеш, проснувшись, вскочил, протер кулаками глаза, подтянул выцветшие ситцевые штанишки и опрометью побежал к невысокому холму рядом с аулом. Вот уже год спешил он каждое утро сюда, на этот бурый холм, и долго-долго вглядывался в степь. С некоторых пор мальчика томило неясное — тревожное и радостное одновременно — предчувствие. Все чудилось, что вот наступит утро и в его жизни произойдет что-то необыкновенное, и придет оно, чудо это, конечно же, из степей, куда ведет эта узкая, пыльная дорога за аулом.

По серой дорожке за их лачугой редко проезжает даже грузовик. Разве кто почту по пути забросит. Разве иной шофер, неожиданно наткнувшись на аул рыбаков, остановится, попросит пить, опрокинет залпом чашу шубата или шалапа, глянет раз-другой на море со вздохом и снова направится к машине, спеша к своим неотложным делам. Там, за шестью перевалами, говорят, совсем другая жизнь. Узнать бы, увидеть бы... Но молчит степь. И только в вышине самозабвенной трелью заливается жаворонок.

Мальчик бежит к морю, с разбегу плюхается в воду, смеется, видя, как черными искорками рассыпаются во все стороны гревшиеся на отмели шустрые головастики-

бычки. Опираясь руками о дно, он изо всех сил колотит ногами, потом, зажав уши и нос, погружается в теплую воду, ловко перевертывается на спину и смотрит вверх. Становится радостно и жутко, словно он попал в совсем иной мир, во владения водного царя Сулеймана. Море глухо гудит в ушах, волны чуть-чуть покачивают мальчика, и песок под ним шуршит, шевелится. Мальчику мерещится, будто волны незаметно затягивают его в глубь моря и он уже скользит по зыбкому, податливому песку.

Теперь Эркеш бредет по воде к лодке на отшибе. Это лодка Абильхана. Уехал ранней весной Абильхан, всей семьей куда-то подался и лодку оставил. Уходят из аула рыбаки. Скучно им здесь, одиноко. Только перед семью лачугами недалеко от зимнего стойбища дымит еще очаг.

Томится на цепи лодка-сирота, палит ее нещадно солнце, не глядя иссохшие ее бока морские волны, зеленым илом успела обрасти. Эркеш взбирается на лодку, ложится на корму, свешиваясь головой. Там, за зеленоватой пеленой, лежит причудливая коряга, и если долго смотреть на нее, она оживает, начинает шевелить хвостом, приподниматься и опускаться. Словно это злой айдахар, который только прилег отдохнуть возле лодки. Тяжело дышит чудище-айдахар, никак проснуться не может, лапами песок скребет, щупальца во все стороны протягивает. «Ай!» Эркеш бежит к носу лодки, прыгает в воду, спешит скорей к берегу.

Здесь он начинает строить из влажного мелкого песка город — много маленьких домишек, таких же приземистых, как их летняя лачуга. Так мальчик представляет его. А волна подкрадывается к городу на песке, грозя его разрушить. Она быстро откатывается, чтобы столкнуться с несущейся откуда-то из морской пучины другой крутобокой волной, набирается силы, разбегается и обрушивается на город, смывает разом все домишки и, довольная, бежит назад, в море. Эркеш задумчиво смотрит себе

под ноги, на чистую песчаную гладь, где только что был его город.

Издали доносится знакомый стрекот мотора, и мальчик всматривается в безбрежную морскую ширь. Сейчас за теми белогривыми волнами вынырнет лодка отца. Вот она уже показалась и стремительно несется к берегу, задрав нос, и гул мотора нарастает, разносится далеко-далеко. У черной кромки воды отец заглушает мотор, и лодка неслышно мчится к сваям, торчащим возле ледника. Вот она, коснувшись дном о песок, останавливается, отец прыгает прямо в воду, подтаскивает лодку еще ближе на отмель и привязывает ее цепью к железному колу.

Мальчик, размахивая руками, бежит к отцу. На дне лодки лежат вперемешку брюхастые, золотистые сазаны, остромордые щуки и судаки со стеклянными злыми глазами, усачи со скорбно поджатой нижней губой, тупорылые сомы. Они кажутся присмиревшими, сонными, но — попробуй — дотронься до какого-нибудь судака, он встрепенется, оскалит пасть, взовьется, как стальной прут, грозя выпрыгнуть, вырваться из неволи, и тогда на мгновение просыпаются все его собратья, и лодка качается от их неистойвой пляски.

Из ледника, волоча за собой носилки, плетется приемщик Адырбай. Он давно уже не рыбачит, вернулся с войны без ноги, но не захотел расстаться с морем. В ауле рыбаков Адырбай — незаменимый человек. Он и приемщик, и продавец, и «поштабай» (почтальон), и вообще мастер на все руки.

Отец хватает под жабры крупного сазана, кладет его на широкую мозолистую ладонь, покачивает на весу, любуясь, и запихивает в холщовый мешок.

— На, Эркежан, матери отнеси. Пусть зажарит. Донесешь?

Мальчик обеими руками прижимает к себе тяжелый мокрый мешок и, спотыкаясь, спешит к дому, где возле

очага уже попискивает самовар, горит под треногой огонь и булькает вода в маленьком черном казанчике.

Сдав утренний улов Адырбаю, отец медленно идет домой. Тяжело идет, вперевалку, одной рукой поясницу держит. Эркеш знает: стар уже отец, и ноги больные, еще молодым застудил зимой на море.

Завтракают они под навесом, едят сочную сазанину, долго пьют чай. Отец выгирает полотенцем пот, часто поглядывает на дорогу.

— Не сегодня-завтра должен приехать Алеке...— говорит он.

Недавно вернувшись с совещания передовых рыбаков, отец за дастарханом сообщил, что к ним на днях обещал заехать Алеке.

— Сам?! — всполошилась мать.

С того дня она лишилась покоя. Перевернула в доме все вверх дном. Выбила, высушила все ковры, подстилки, подушки, развязала тюк, расстелила новые алаша, настряпала на всякий случай баурсаков, в гостевую комнату отныне вообще никого не пускала.

— Алеке к нам едет,— говорила она соседкам.

И те цокали языками, удивлялись и завидовали.

— Знаете, к нам приедет Алеке,— хвастался перед приятелями и Эркеш.

И мальчишки хлопали глазами, озадаченно чесали затылки и тоже завидовали.

Но проходили дни, а Алеке не появлялся. Отец за чаем все поглядывал на дорогу и будто сам себе говорил:

— Не сегодня-завтра пожалует к нам Алеке...

II

Гости нагрянули неожиданно. За перевалом вдруг показалось облако пыли, вслед за ним всклубилось еще одно, расширяясь, они приближались к морю, и Эркеш с тревогой глянул на родителей. Время было обеденное.

Отец в углу под навесом колдовал над старыми, прогнившими вентерями, а мать у земляной печки скребла дно казанчика. Вскоре на холм взлетели, вынырнув из серой пыли, два газика, ослепительно блеснули на солнце ветровыми стеклами, спустились к побережью и через мгновение резко затормозили у лачуги.

Отряхиваясь, потягиваясь, вылезли из машин человек шесть. Мальчик прижался к косяку. Столько людей сразу, да еще в светлых «городских» костюмах, шляпах и темных очках ему не приходилось видеть. Мать побежала за самоваром. Отец, подергивая бородку, пошел встречать гостей. В это время из передней машины вышел тучный, большеголовый мужчина, и отец поспешно направился к нему, учтиво протягивая обе руки. «Видно, этот и есть Алеке», — решил про себя мальчик.

Гости направились к лачуге. Впереди, грузно раскачиваясь, шел Алеке, а позади озабоченно семенили расторопные парни-шоферы, неся вдвоем большую корзину. У входа Алеке на миг остановился, кивнул хозяйке, и Балым, не поднимая глаз, с готовностью откликнулась:

— Ш... шукир... Рады вам...

Шоферы извлекли из корзины бутылки и опустили их в бочку со льдом возле двери.

В гостевой комнатке было тесно, но чисто и прохладно. Гости уселись на разноцветные корпе-одеяльца, постеленные поверх белой, из верблюжьей шерсти, кошмы. Хозяин кинул каждому по подушке.

Помолчали. Алеке расстегнул сорочку, платком вытер потное лицо, оглянулся.

— А неплохо, вижу, устроился, Шоке, а?!

— Нешауа... — ответил по обыкновению рыбак. От этого «нешауа» — «ничего» вроде все становилось легко и понятно. — Жаловаться грешно.

— И бодр, крепок по-прежнему?

— Нешауа... Поясница только побаливает. Старею, должно быть.

— Э, не говори! Жена-то вон какая молодуха, а?
Гости заулыбались.

— Да-а, хорошо...— просипел Алеке.— Ни забот, ни горя... Лови себе рыбешку. Спи, ешь, сколько влезет... А мы в жару, в холод мотаемся... вечно в хлопотах... Планы, обязательства. Шумим, не досыпаем... Откуда, спрашивается, тут здоровью быть?..

— Ия... ня... — согласились гости.

— А потом нас еще ругают... критикуют... То не так, да это не так. Заботимся, дескать, мало...

Старый рыбак молчал, похлопывал себя по коленям и мучительно думал все о том, что он ведь хозяин, ему нужно что-то говорить, гостей занимать, ведь такая честь, сам Алеке у него остановился, а он, тюфяк, мямля, молчит, колени трет, бороденку щиплет. Ай, нехорошо... И неожиданно для самого себя рыбак сказал:

— Ну, конечно... что и говорить... нелегкое это дело большим хозяйством руководить. Всем ведь не угодишь...

Тихо вошла Балым, поставила перед мужем большую деревянную чашу с кумысом, подала половник и так же тихо вышла. Девчонка-соседка внесла горку фарфоровых пиал. В ноздри ударило кислым, прохладно-душистым. Гости оживились.

Рыбак неторопливо мешал половником кумыс. Алеке заметил вдруг большеглазого, скуластого мальчонку, сидевшего у порога.

— Эй! Ты чей будешь?

Эркеш нахмурился, глаза потупил.

— Что? Язык проглотил?

— Отвечай же, малец.

— Подождите, дайте ему подумать.

Поплыли по рукам пиалки с кумысом. Гости отпили, почмокали, определяя достоинства напитка.

— Я сын своего отца,— буркнул мальчик, еще ниже опустив голову.

— А?! — удивился Алеке и всем телом повернулся к старому рыбаку. — Это ваш, что ли, Шоке?

— Мой, — ответил рыбак и ласково улыбнулся. — Меньшой.

— Ай да Шоке! Видали?.. Поясница болит, говорит. Старею... А сам такого сорванца сообразил! — И первым захохотал Алеке, затрясся весь, заколыхал животом. — Ничего себе поясница болит, а?! Ых-ых-ых...

Смеялся Алеке, смеялись гости. Смущенно улыбался старый рыбак и все мешал, мешал половником кумыс в чаше.

— Выходит, Шоке, это ваш копей¹!...

Гости переглянулись и разом прыснули.

— Ха-ха-ха... копей...

— Хе-хе-хе... копей...

— Ну, и скажет же Алеке!

Мальчик недоуменно посмотрел на развеселившихся гостей и вышел в переднюю. Мать накладывала на тарелочки масло, сахар, конфеты. У входа жарко пыхтел самовар. Под навесом, в тени, Адырбай разделявал большего осетра. Чуть поодаль на тагане чернел, наполненный водой, крутобокий тай-казан.

— Ага, а что гости делать будут?

— Как что? — Адырбай тыльной стороной руки смахнул пот со лба. — Отдыхать, купаться, рыбу есть...

— А еще?

— Еще... может, Алеке на охоту поедет.

— Зачем?

— Так... чтобы позабавиться, еликов пострелять.

— Это интересно?

— Кому — как... — Адырбай ловко орудовал длинным ножом над осетровой тушей. — Твоему коке — нет, а Алеке, значит, интересно.

Эркеш подумал и побежал к машинам.

¹ Ягненок позднего расплода (каз.).

III

После кумыса, чая, свежей осетрины, поданной на деревянном подносе-табаке, как бесбармак, и жирной, дымком пахнувшей сорпы заметно отяжелевшие и осоловевшие гости решили для бодрости искупаться в море. Поныряли, поплавали, руками и ногами похлестали морскую волну.

— Ах, благодать!

— Ах, божий рай!

Алеке тоже полез в море, присев, оттолкнулся, проплыл, фыркая и отдуваясь, два-три шага. Потом постоял в воде, похлопал себя по животу, по груди, плотный ежик на голове намочил.

— Ух-х! Душа моя...

Эркеш смотрел, как резвились гости, как услужливый Дулат, шофер, расстилал в тени дастархан. Адырбай притащил связку вяленых сазанов, откупорил бутылки, разлил пенистую коричневую жидкость по пиалам.

Перед закатом, накупавшись, довольные гости побрели к лачуге. Из котла на треноге валил духмяный пар, рядом валялись ножки еще в обед стоявшей здесь на привязи жирной ярки, и Балым, сидя на корточках, раскатывала тесто на жеребьячьей шкуре.

...Как только стемнело, Алеке кивнул Дулату.

— Поехали!

Ночная охота на машине была давнишней страстью Алеке. Выезжая в отдаленные рыбацкие аулы, проверяя улов и запасы ледников, он никогда не отказывал себе в удовольствии погоняться с ружьем за чуткими и быстроногими еликами.

На заднем сиденьи притаился, сжавшись в клубок, Эркеш. Его бы, пожалуй, и не заметили, если б Дулат не полез за ружьем, лежавшим в чехле под сиденьем.

— А ну, слезай!

Но мальчик забился в угол и решительно буркнул:

— Я тоже поеду.

— Не надо, айшалайн. Напугаешься только,— всполошилась Балым.

— И не думай! — сказал отец.— Ты ведь выстрела еще не слышал, дурачок.

Но ни отец, ни мать, ни гости не смогли мальчика уговорить остаться. Он упирался руками и ногами и угрюмо твердил:

— Я поеду... поеду!

— Ладно,— сказал тогда Алеке.— Пусть. Может, копей ваш удачу принесет... Только смотри, сиди смиренно и не хнычь. Понял? А растрясет — пеняй на себя. Договорились?

— Ладно...

Ехали долго. Газик, подпрыгивая на кочках, то поднимался на холмик, то нырял в лощины и степные балки, словно лодка на волнах в непогоду. Два ярких пучка света, сливаясь, выхватывали из густого мрака узкую полоску пыльной степной дороги. Дулат припал к рулю, сторожко поглядывая вперед. Алеке, грузно покачиваясь, подремывал.

Эркеш вцепился обеими руками в спинку переднего сиденья и смотрел, как замороженный, и в ушах шумит ветер, и навстречу все стремительней бежит узкая серая дорожка, а по обочине ее кивают, машут ему кудрявые, лиловые в свете фар головки полыни да редкие чахлые кусты. Вот оно, чудо! Вот то, что должно было случиться, что он ждал все эти дни. Ведь недаром приехал Алеке сюда, к их заливу на краю моря...

Степь жила своей ночной жизнью. То выныривал откуда-то сбоку косаяк и, ослепленный светом, отчаянно скакал впереди, отталкиваясь от земли длинными задними ногами. То вдруг перебежал дорогу, вытянув мордочку, озабоченный еж. А за ветровым стеклом, в зыбком, дрожащем свете роились, бились бабочки, комары, мошки.

Потом круто свернули в сторону и поехали по бездорожью, прямо по степи. Алеке привалился к дверце, вытащил из чехла ружье. Дулат еще больше согнулся, будто силился увидеть что-то там, за чертой света. Кружила машина, прощупывала тихую ночную степь.

И в свете фар Эркеш на мгновение заметил, как в нескольких шагах кто-то рванулся в сторону. Тут же у самого уха раздался оглушительный выстрел. Газик остановился. Первым выскочил Дулат, за ним вылез Алеке, последним прыгнул Эркеш.

Лисенок, откинув пушистый оранжевый хвост, лежал на боку. Передние ноги были скрешены. Меж мелких редких зубов высунулся темный, влажный еще язычок. Лисенок был невзрачный, тощий. Алеке дотронулся до него носком ботинка, брезгливо сплюнул.

— Линяет бедняга. Шелудивый...

— Взять? — спросил Дулат.

— Ты что?! Зачем такое барахло?

Алеке направился к машине. Высохшая за знойное лето полынь потрескивала под его ногами.

Дулат обошел газик, попинал шины, потянулся.

— Что, джигит, устал? Укачало?

Эркеш не ответил.

Еще долго они кружили по ночной степи. Ошалело несся газик, рассекая светом фар безмолвный мрак. Чудо вдруг разом исчезло. Он забился в угол, уперся ногами в переднее сиденье, чтобы не упасть, и стиснул зубы. Гудело в ушах, поташнивало, и хотелось домой, к маме, к родному аулу у моря.

Очнулся Эркеш от резкого толчка. Машина дрожала, шарахалась из стороны в сторону. Дулат, бледный и взъерошенный, судорожно вцепился в руль, но, казалось, газик вот-вот вырвется из его цепких рук и понесет. Алеке весь подался вперед и хрипло кричал:

— Скорей!.. Жми!.. Давай!..

За машиной выло, свистело, по брезенту хлестало, будто градом.

— Скорей же, паршивец!

— Машина развалится, Алеке!

— Жми, говорят!..

Газик колотило, как в ознобе.

Впереди то с одного, то с другого боку бешеным наметом мчались насмерть перепуганные елики. Свет фар изредка настигал их, и тогда в густой серой пыли мальчик видел плотно сбитый косяк изящных, тонконогих животных. Из-за гула мотора не было слышно топота их гоченых копыт, и казалось, елики и не бегут вовсе, а легко закидывая ноги, неслышно, невесомо плывут над верхушками сизой от пыли степной долины.

Мальчику сейчас больше всего хотелось, чтобы ушли елики от погони, чтобы свернули в какой-нибудь овраг, растаяли во мраке ночи. И действительно, свет все реже и реже достигал — и то лишь на мгновение — охваченное страхом стадо. Но одна косуля стала явно отставать. Она уже бежала в нескольких шагах от косяка, припадая на переднюю ногу, спотыкалась и вновь короткими, отчаянными прыжками старалась догнать его.

Алеке прицелился.

— Не надо! — вскрикнул вдруг Эркеш и обеими руками вцепился в крутой загибок Алеке. — Не стреляй! Не стреля-ай!..

— Тайт, щенок!

— Не стреля-ай, агатай!..

Свет выхватил на миг, вырвал из темноты одинокую косулю. Алеке спустил курок... Машина дернулась...

Стало тихо-тихо. словно не было ни еликов, ни бешеной погони, ни тряски, ни выстрела. Раненая косуля трспыхалась в свете фар на пыльной потресканной земле. Из широких, трепетных ноздрей спадала клочьями пена. Задняя нога судорожно дергалась. Глаза от боли округлились и тускло мерцали. Косуля подняла голову, вытя-

нула длинную, гладкую шею, забила передними ногами, норовя вскочить, но силы, видно, покинули ее.

— Скорей! Скорей! — просипел Алеке.

Дулат бросился к косуле, придавил ее одним коленом и с размаху всадил нож в теплое потное горло.

— Бисмилля...

У крайней мазанки Дулат круто осадил запаленный газик, длинно просигналил. Овцы вскочили, шарахнулись в сторону, а верблюдица на золе лишь глянула на полупочников и презрительно отвернулась.

Эркеш, стараясь не задеть ногами косулю, выбрался из машины и опроретью побежал в переднюю.

— Ладно, айналайн, ягненочек мой, успокойся,— шептала Балым, прижимая сына к себе.— Я же говорила, не надо было ехать...

В дверь протискивался Алеке.

— Эй, сонн! Подъем... Шоке, есть подарочек для твоей Балым. Иди, любуйся!

В гостевой комнатухе заворочались. Кто-то спросил:

— Судя по голосу, вы, Алеке, с удачей вернулись, а?

— А ты как думал? Такую косулю подстрелил. А главное — как! Эх, вы... Радости жизни не знаете.

Гости, полуодетые, потянулись к выходу. Алеке распорядился освежить зайца и немедля зажарить на слабом огне. Ели зайчатину уже за полночь, не торопясь, облизывая каждую косточку, и при этом похваливали и охотника, и зайца. Алеке красочно рассказывал, как долго они ехали по степи, намотали больше ста километров, и никак не везло им, и Дулат уже подумывал повернуть назад, но он, Алеке, не мог, не в его это правилах возвращаться с охоты с пустыми руками.

— Ия, ня... это так.

— Наш Алеке такой,— поддакивали гости.

IV

Эркеш проснулся поздно. В гостевой комнатке пили чай, о чем-то говорили. Эркеш вышел во двор, прошел скорее мимо машин и, шлепая босыми ногами по мягкой, уже нагретой пыли, побежал к своему холму.

Потом гости засобирались в дорогу. Столпились вокруг машин, прощались с хозяином и хозяйкой.

— Остались бы, Алеке, еще на денек,— тербя бороду, сказал старый рыбак.

— И рад бы, да нельзя, Шоке, нельзя,— сипел Алеке.— Некогда. Дела, знаешь, не блещут у нас на рыбозаводе. Не до отдыха...

Алеке увидел лежавшую возле очага косулю.

— Шкуру снять надо. И отнести в ледник. А то прогхнет.

Садясь в машину, Алеке посмотрел в сторону моря и увидел на холме, у обрыва, мальчика.

— Эй, это копей, что ли? Кого он там сторожит?

— Он море сторожит, мой айналайн,— ласково улыбнулась Балым.— Степь сторожит. И солнце... Так он напугался вчера, козленок мой...

— Как вцепится в меня! — Алеке выпятил губу.— Чуть не промахнулся.

— Глупыш еще,— тихо сказал рыбак.

Заворчали моторы, и покатались, побежали по пыльной степной дорожке один за другим два юрких газика.

А мальчик, приставив ко лбу ладонь, все смотрел и смотрел в степь, широко растянувшуюся под солнцем.

ЖАКЫП-ЯКОБ

Рассказ

Давиду Вагнеру



девочка вбежала в дом, впус­тив за собой си­зое облако пара, испуганно захлопнула дверь. Тазик, с которым она отпра­вилась в сарай за кизяком, с грохотом упал у порога.

— Что с тобой, Мальхен?

Деревянное колесо веретена, недовольно скрипнув, остано­вилось. Руки матери, привыч­но и ловко сучившие клок шер­сти, замерли.

— Там...— Девочка метнула взгляд на дверь.—
Киргиз...

— Что-о?..

— Стоит... Трясется весь... Что-то лопочет.

— Ах, гот! В такую стужу...— вздохнула по обыкно­венно мать.— Выйди, Иоганнес, узнай...

Отец возле печки в закутке ладил конскую упряжь. Он нехотя вышел, накинув на плечи старый

кожух. С громадной, на полдома, печи свесились две вихрастые головы.

— Ты испугалась, Мальхен?.. Он с бородой и с мешком. да?

У мальчиков от любопытства округлились глаза. Но Маля, девочка лет тринадцати, не успела ответить. Вновь распахнулась дверь, и, подталкивая закутанного в ломотья парнишку, вошел отец.

Гость был в огромных, явно не по ноге, сапогах. Голова обмотана грязной тряпницей. На поясе болталась бечева, сплетенная из конского волоса. Сквозь прореху на заскорузлых, затвердевших на морозе штанах синело голое тело. Щуря глаза-щелки, он робко переминался с ноги на ногу. На поясе висел тощий мешочек, сшитый из разноцветных лоскутков.

— Садись. Грейся,— сказал отец, показывая на скамью у печки.

Гость скосил на него быстрый взгляд и опустил, скрестив ноги, на половничок.

Маленькая немецкая деревушка — два десятка саманных домиков с неизменными пристройками и летней мазанкой-бакхаузом — затерялась на самой границе казахских степей в стороне от всех дорог и событий. Лишь дядя Христьян, главный деревенский политик, потерявший на русско-турецком фронте ногу, бывало, привозил смутные новости со станции Урбах. Это он, вернувшись после долгих скитаний, поведал землякам о великих переменах в жизни: о свержении русского кайзера, о революции, большевиках, свободе. Его слушали с открытыми ртами, но с сомнением, недоверчиво, ибо в самой деревне перемен никаких не чувствовалось. Жизнь протекала однообразно, по извечно заведенному порядку, в бесконечно изнурительном труде и унылых заботах.

В тепле, возле печки, мальчика еще сильнее била дрожь. Он старался сдерживать ее и искоса оглядывал комнату. Все было ему внове: и громоздкая печь, и чисто

выскобленный приземистый стол, и потемневшее от старости веретено, совсем не похожее на прялку-юлу, с которой не растают старухи в аулах. За окном стыл мороз, выл ветер, постепенно слабевший после многодневных буранов, а здесь было тихо, чисто, от пепки струилось уютное тепло, пахло кизяком и чем-то кислым, незнакомым, и мальчик, вспомнив убогую, с погасшим очагом юрту, угрюмого отца, выгнавшего его в холод собирать по деревьям милостыню, зябко поежился. Хозяева о чем-то переговаривались, но мальчик не понимал ни слова. Мужчина сосредоточенно прилаживал мягкий валик к остову старого хомута.

— Ты... откуда? — спросил он.

— А... аул... Кара-Ыбрай...

— Краут унд брай?¹ — озорно переспросил кто-то из сорванцов на печке, и все расхохотались. Гость недоуменно посмотрел на всех и тоже улыбнулся.

Верстах в десяти от деревни начинались бескрайние запущенные степи. Там обитали, жили своей непонятной жизнью кочевники. Киргизами пазывали их в деревнях Поволжья. Огромная была степь, а народ вроде малочисленный. Может, так только казалось... Ранней весной прокопченные юрты за пашней вдруг куда-то исчезали, на их местах еще долго темнели черные проплешины, а осенью, когда чахлая трава покрывалась ночами сизым инеем, эти юрты неожиданно появлялись вновь. Редко кто из деревни знал, как и чем живут степняки в юртах, а еще реже появлялись в деревне они сами. Потому, наверное, и ходили разные нелепые слухи о чернолицых, куластых кочевниках.

— Ия... Кара-Ыбрай... Там... далеко.

Мужчина что-то сказал, и девочка, постреливая в гос-

¹ Игра слов, построенная на созвучии. Буквально: капуста в каша (нем.).

тя насмешливым взглядом, принесла большой ломоть ржаного хлеба, ухватом достала из печки чугунок, наложила в тарелку тушеной картошки и поставила на стол. Гость, жадно взглянув на еду, судорожно сглотнул слюну.

— Ешь,—сказал мужчина, кивком показывая на стол.

После еды гость согрелся, повеселел. Он сбросил с себя рвань, швырнул сыромятные сапоги к порогу, благодарно воскликнул:

— Карашо!

Мальчики, осмелев, спустились с печки, подошли поближе.

— Краут унд брай? — спросил все тот же озорник.

— Ия, ия,— с готовностью откликнулся гость.— Кара-Ыбрай...

И первым расхохотался, сузив и без того узкие глаза.

Мужчина, незаметно поглядывая на него, достал из кармана кисет, короткую, обуглившуюся по краям трубку, не спеша набил ее табаком. Гость смотрел на девочку, убравшую со стола посуду.

— Это Маля... Мальхен,— сказал мужчина. Он с трудом подбирал русские слова. Вообще и гость, и хозяин знали их, пожалуй, в лучшем случае десятка два. Но одно и то же слово каждый произносил столь своеобразно, что, казалось, они разговаривали на разных языках.

— Это — Виктор. Это — Франц.

Мальчики одновременно растянули губы до ушей.

Гость покивал бритой головой.

— А... Мала... Бектур... Пранс...

— А я — Бауэр.— Мужчина ткнул себя в грудь мундштуком обгорелой трубки.

— Твой — Бауыр,— согласился гость.— Мой — Жакып.

— Что-о?

— Мой — Жакып.

— А-а... — Мужчина разом выпустил облако дыма — Якоб? Киргиз Якоб?

— Якоб! Якоб! — радостно воскликнули мальчики. Видно, скучно им было целыми днями возиться на печке, из дома зимой носа не высунешь, разве лишь по неотложной нужде, а этот неожиданный гость был так необычен и пришел из таинственной степи, куда их взрослые никогда не пускали.

Гостю на вид было лет четырнадцать-пятнадцать. Должно быть, совсем не сладко жилось ему в своей степи. Он не собирался уходить, простуженным гортанным голосом время от времени произносил:

— Кибитка — плохо, здесь — карашо!

Казалось, он совсем забыл, зачем пришел сюда, и не замечал, что подкрадывается вечер. Хозяйка положила ему в мешочек кусок хлеба, а Бауэр, кивком указывая на лохмотья у порога, напомнил:

— Домой надо...

Гость встревоженно глянул на него, отчаянно замотал головой.

— Домой нет... нет...

Слезы вдруг полились из его глаз, и он стал что-то быстро и непонятно лопотать, изредка вставляя исковерканные русские слова, и все поняли, вернее, догадались, что мальчику очень не хочется домой, что худо ему там, холодно и голодно, отец заставляет просить милостыню, а потом еще и бьет, если он приходит домой с пустой сумой. Хозяйка, теребя подол передника, проговорила свое привычное: «Гот, ах, гот!», а у Мали на глаза тоже навернулись слезы.

Потом стало тихо в доме. Бауэр озадаченно попыхивал трубкой, мальчики о чем-то просили отца. Потом Бауэр повернулся к жене, посмотрел на гостя.

— Ладно... Не плачь. Оставайся.

Вечером хозяйка вынесла одежду гостя в сени, нали-

ла в деревянное корыто теплой воды, заставила его помыться в закутке за печкой. Потом его одели в залатанные, но чистые обноски, напоили солодковым чаем и отправили вместе с Виктором и Францем на печку.

Так смуглый, черноглазый казашонок, прозванный Киргизом-Якобом, остался жить в семье немецкого крестьянина Бауэра. Его полюбили за веселый нрав, живость и исполнительность. Радовался Бауэр: в бесконечных крестьянских хлопотах расторопный работник никогда не помеха. Младшие — Виктор и Франц — не отставали от него ни на шаг и хвастались перед деревенскими сверстниками: «Наш Якоб!» И тетя Гермина, хозяйка дома, привязалась к нему, как к родному сыну. Маля весело смеялась над его забавным выговором и охотно учила его обиходной немецкой речи.

Так прошел год, а Якоб и не помышлял о возвращении в свою степь. Бауэр как-то предпринял попытку поговорить по душам наедине, намекнул, что пора пожалуй, навестить аул, родные наверняка беспокоятся, ищут его, что, дескать, нехорошо все получается, могут быть, кто знает, неприятности. Ничего не ответил Якоб, несколько дней ходил грустный, подавленный, и Бауэр решил про себя, что, видно, напрасно затевал он тот разговор.

Однажды хромой Христьян привез в деревню молодого учителя и торжественно объявил землякам, что новый советский шультмайстер будет учить деревенских неучей уму-разуму. Под школу отвели просторную пустовавшую комнату в доме дяди Христьяна, прорубив отдельный вход и пристроив крыльцо. Теперь Франц и Виктор восторженно, взхлеб говорили об учителе — долговязом Дитрихе. Там же, в классной комнате, неугомонный учитель организовал читальню и вечерами рассказывал лю-

бопытным крестьянам о новой жизни, о целях и задачах молодой советской власти. Пусто было в читальне, всего несколько книг да невесть откуда притащенная кипа пожелтевших немецких газет лежали в самодельно сбитом шкафу, но не читать приходили сюда крестьяне, а слушать при зыбком свете лампы речи бледнолицего учителя. Часто приходил сюда и Якоб, плохо понимая, о чем иногда так яростно спорят обычно степенные крестьяне. Учитель Дитрих заметил его, предложил ходить в школу. Знания ведь нужны всем, и казахам, и немцам, и молодая власть очень нуждается в грамотных людях. Смушаясь, робея, Киргиз-Якоб отправился вместе с Виктором и Францем в школу. Он был старше и выше всех ростом, и задиристые рыжие сорванцы стали поддразнивать его, насмешливо называя чернявым дядей Якобом.

...Почти три года прожил Якоб в простой, работающей семье Бауэра. И — казалось — он уже навсегда связал свою судьбу с этой неприметной немецкой деревенькой. Но однажды — то было знойным летом — прискакал в деревню его отец, заглянул в один двор, в другой, расстроил всех собак и наконец, по чьей-то указке, примчался к крайнему саманному домику.

— Где киргиз-малшик? — кричал он, с трудом сдерживая разгоряченного коня. Перепуганная насмерть тетя Гермина кое-как объяснила, что Якоб вместе с хозяином работает в поле.

Всадник, размахивая над головой волосяной веревкой, умчался в степь.

Бауэр и Якоб, работавшие на току, удивились, заметив стремительно приближавшегося к ним верхового. Якоб насторожился, побледнел и, вдруг закричав что-то по-своему, кинулся к стогу сена неподалеку. Но верховой, должно быть, узнал его. Он тоже кричал что-то не-

понятное и направил коня наперерез, прямо к стогу, на скаку слетел с седла, бросился в сено и рывком за ноги вытащил ошалевшего парня.

Все произошло так быстро, что Бауэр не успел даже опомниться. В следующее мгновение он увидел Якоба, уже привязанного волосяным арканом к хвосту лошади. С вилами в руке побежал он на помощь, но всадник, хлестнув упирившегося парня камчой по спине, пустил коня рысью. Якоб бежал из последних сил, чтобы не упасть. Вскоре в зыбком степном мареве растворились и всадник, и тщетно взывавший к помощи несчастный Якоб. Будто и не было ничего...

Маля заплакала, услышав эту весть. Тетя Гермина вздыхала всю ночь. Ворочался в постели Бауэр. На другой день он и учитель Дитрих отправились верхом в степь, надеясь встретиться с отцом Якоба, поговорить с ним по-доброму, хотя никто из них и не знал, что и о чем он будет говорить, напрасно только гнали лошадей. На широкой равнине одиноко стояли две кибитки, вокруг паслись несколько овец и коз. Старуха подозрительно покосилась на гостей и отвернулась. Глазела, разинув рот, стайка голопузых, босоногих детишек, а молодайка в длинном цветастом платье, толкая тощую, землистосерую грудь в рот горластого сосунка, равнодушно сказала «Мой не знает...» Вокруг — куда ни посмотри — ни живой души. Только ковыль, кивая седой головой, вел бесконечный разговор с вольным ветром.

И в деревне, и — особенно — в доме Бауэра часто вспоминали Якоба. За обедом, оглядывая стол, тетя Гермина каждый раз вздыхала:

— Где-то теперь наш Якоб? Интересно, как ему, бедному, живется...

Осенью, когда за пашней вдруг снова появились юрты, Бауэр отправился в аул поразведать, не вернулся ли с летовки и Якоб. Но ни Якоба, ни того всадника он так и не увидел.

...Года два спустя съехала как-то Маля по хозяйственной надобности в соседнее село. День был солнечный, ясный. Мерин шел неторопливой трусцой, и девушка, изредка подергивая вожжи, негромко пела лукавую песню про любезного Хайнриха и милую Лизу. Дорога была длинная, а песня еще длинней: плутоватый Хайнрих из песни находил все новые и новые доводы на предложения простодушной Лизы. Вдруг Маля услышала топот. С холма, на склоне которого паслось стадо коров, скакал ей наперерез верховой. Он был в треухе, полы чапана развевались на ветру. Девушка ударила мерина, испуганно оглянулась. Тот в треухе настигал ее. Маля поняла, что ей все равно не уйти, и стала придерживать мерина.

— Их дох ойер Якоб бин!¹— услышала она вдруг.

Они обрадовались друг другу как малые дети, хохотали, говорили разный вздор. Потом, опомнившись, посмотрели друг на друга удивленно, странно, словно виделись впервые, покраснели и долго, растерянно молчали. Якоб пересел в телегу, привязав чембур к передку, стал рассказывать.

Увез его тогда отец далеко, бил, ругал за непослушание, потом отдал в пастухи. Теперь Якоб уже большой стал, сильный, и отца-самодура уже не боится. Недавно ушел с другим аулом. Несколько дней назад нанялся пасти стадо в богатом немецком селе. О них, Бауэрах, он все эти годы постоянно думал и, если они хотя, готов хоть сегодня снова перейти к ним. Может, ее отцу нужен работник?

Маля задумчиво слушала его нескладную, корявую речь. За эти годы Якоб многое позабыл и непривычно звучали в его устах немецкие слова.

За оврагом они расстались.

¹ Я же ваш Якоб! (нем.).

А через неделю Якоб пришел к Бауэру, да так и остался в той семье. Молодые полюбили друг друга, поженились, и теперь живут где-то в вольной семье наших народов потомки — дети и внуки — немки Амалии Бауэр и казаха Жакыпа.

1973

СОДЕРЖАНИЕ

Перед дально, <i>повесть</i>	3
Излучина, <i>повесть</i>	101
За шестью перевалами, <i>рассказ</i>	163
Жакып-Якоб, <i>рассказ</i>	177

ИБ № 608

Бельгер Герольд
ЗА ШЕСТЬЮ ПЕРЕВАЛАМИ

Повести, рассказы

Редактор *В. Старков*
Художник *М. Искаков*
Худож. редактор *Б. Маширапов*
Техн. редактор *С. Делесова*
Корректор *Г. Сыздыкова*

Одано в набор 29/IV-76 г. Подписано к печати 18/I-77 г. Бум. тип. № 2. 70 × 108¹/₂ = 1 5,875 п. л.—8,23 усл. п. л. (Уч.-изд. л. 8,31). УГ09707. Тираж 100 000 экз. Цена 51 коп.

Заказ № 1797. Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «Кітап» Государственного комитета Совета Министров Казахской ССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, 480046, г. Алма-Ата, пр. Гагарина, 93.